

1 марта 2020

Пространственная и временная ипостасности объединяются в настоящем и прошлом. Мы не знаем, что будет с нашим сознанием жизни после того, как кончится наша ипостась. Но мы вполне можем это предположить по тому, как соотносятся наше сознание жизни и жизни ближних и дальних; человека и животных; человека и растений; человека и минералов, если можно говорить о их жизни. И у нас есть некоторые данные о том, как это было. Вот почему ипостасная вера естественно восполняется наукой и искусством. Философия – связующее звено между ипостасной религией и наукой. Всё это понятно. Но тем не менее, вопрос о том, что будет с нами, мучает нас. Лев Толстой в «Книге о жизни» писал о том, что наше сознание жизни вне времени и пространства. Мы не знаем, откуда мы пришли и куда мы идем. Но мы знаем, что мы всегда были и всегда будем. Но вот это религиозное утверждение связано с тем, что мы не можем проверить его истинность и не можем его опровергнуть. Оно требует веры, поскольку касается сфер, областей, явлений, нам ещё не доступных или уже не доступных в настоящем и прошлом, изначально. Нас это мучает, этот вопрос.

Но то, что мы знаем в настоящем и в прошлом, может быть вполне достаточно для того, чтобы предположить, что с нами будет. Как наша ипостасность осуществится можно заключить из того, как она осуществляется и осуществлялась. Вот почему рядом с религией и философией возникает, может возникнуть и уже возникла, разумеется, ипостасная наука. Возникнуть-то она возникла, но она не осознала себя как ипостасная. Множество проблем решалось, решалось отчасти, ибо научное знание, при всей его точности, неполно и никогда не будет вполне исчерпывающим. Вот, многое решалось, решается. Но, может быть, именно применение понятия ипостасности к тому, что мы уже знаем, к тому, что уже добыли научным знанием и ввели в эту сферу и в эту систему, быть может, этого достаточно для того, чтобы убедительно, убеждающе определить то, что будет. Но вот самое понятие ипостасности применительно к науке требует глубокого религиозного, научного, художественного подтверждения. Это вопрос духовной культуры, культуры вообще. И здесь я могу сказать самому себе, что более-менее компетентным в сфере ипостасной науки может быть

человек, который уже кое-что пробовал в научном знании. Но так как это знание не было измерено в соответствии с принципом ипостасности, здесь еще очень многое предстоит. И я сегодня чувствую, что при всей наивности, казалось бы, этих размышлений мне, по идее, предстояла бы целая жизнь. Я даже знаю, с чего начать, чтобы, скажем, этот принцип был соотнесен с литературоведением, историей литературы и с теорией литературы, и с поэтикой. Тем более, что пробовать мне пришлось не только в науке, но и в искусстве слова. Я знаю, какие ипостасные переходы, какие формы перехода существуют между этими сферами; как и между ними и ипостасной верой, религией. Но тут требуется новая методология, новая методика и отчасти новые технологии, если выражаться модным сегодня термином. Это всё должно быть обдуманно, обосновано, хотя бы вчерне, хотя бы предположительно, хотя бы гипотетически. Но при этом всё богатство уже сделанного в литературоведении чрезвычайно содержательно для такого обоснования.

Ну вот один из примеров – проблема традиции и новаторства. Как только её не решали. В своё время Макогоненко предлагал мне эту тему для докторского исследования, для докторской диссертации. Я отказался от этого, потому что он сам очень многое публицистически и в таком черновом, весьма творческом, проявлении уже пытался объяснить. Для докторской диссертации нужно нечто своё и в самой методологии. Тогда идея ипостасности была не осознана мною. Сейчас я, может быть, взялся бы. Конечно, не за диссертацию, а просто решил бы на погружение в эту бездну. То, что кажется в принципе вполне необъяснимо, не подвержено аналитическому осмыслению. Кто как бы ни писал на эту тему, без применения понятия ипостасности проходит мимо многого. Вернее, не может многое объяснить. Традиция, новаторство; новаторство, которое вбирает в себя опыт традиции – всё это так. Но ипостасное истолкование этой проблемы открывает новую грань, новую сферу погружения для того, кто этой проблемы занялся.

Здесь есть и сразу осознаваемая опасность. Ипостасное истолкование проблемы преемственности может быть быстро исчерпано и сведено к гипотетическим аксиомам, гипотетическим, психологическим утверждениям, которые не могут быть проанализированы, а должны восприниматься на веру. То есть, не начавшись, ипостасная наука, вроде бы, себя исчерпывает и

кончается, уступая место религии, искусству, передающему опыт ипостасного бытия и его осознания человеком в себе самом и в других. Поэтому речь идет о том, чтобы по-настоящему обосновать, обосновать научно то, что неподвластно научному анализу. Возможно ли это? Быть может, не стоит и предпринимать это безумное погружение, ибо оно требует сверхлогического, религиозного, скорее психологического, образно-психологического погружения. Или же, напротив, до сих пор это обоснование не проделано, и мы не знаем пока ещё, какие итоги, какие результаты оно может дать. Но оно может дать эти результаты, может привести к этим итогам. Необходимо проделать труд, причём, труд научный. Но ипостасная наука это не только наука об ипостасности тех явлений, которые изучаются. Она и методологически ипостасна, сама её природа такова. Поэтому прежде чем применять к литературоведению ипостасный подход, нужно разрешить эту проблему. Методологии, затем методики. Гегель начинал с науки логики. А здесь, вероятно, требуется не только логика как наука.

Здесь требуется полное, всестороннее, ипостасное по своей природе обоснование феномена ипостасности. В том, что будет исследовано. И потом, самая методика научного ипостасного анализа будет какая-то особая, не такая, какую мы знаем по нашему опыту и вполне можем обобщить в теории методологии и методики литературоведения. Здесь требуется совсем особая обоснованность научного применения. И я думаю, что только тогда, когда эта задача будет решена или когда просто будут сделаны первые шаги по этой снежной целине, только тогда можно было бы притязать на утверждение возможности самого существования ипостасной науки в целом. До тех пор всё это под большим вопросом. И вопрос этот религиозный, научный, художественный. Если кто-то будет писать о том, кто решился идти таким путем, можно писать нечто художественное о людях науки, как и о людях искусства, как и о тех, кто ведаёт историей и философ. Я даже сам не осознал ещё, что попытки такого гипотетического фантастического художественного обоснования есть, ну скажем, в повести «Правитель» у меня. Но это настолько предварительно, настолько первоначально, что нельзя даже говорить о том, что здесь есть какое-то обоснование. Здесь просто сказано о фантастической возможности в опыте вымышленных персонажей этим жить. И в повести «Трое» тоже кое-что есть. Там профессор и его аспирант готовы совершить даже некий фантастический эксперимент.

Но это настолько предварительно, что в повести даже нет попыток это прояснить. Такая возможность только названа. Но повесть «Трое» – последняя из повестей. Значит, я невольно где-то остановился на этом пороге. И если буду писать дальше, то переступив такой порог, буду прояснять свой опыт именно в этом погружении. Именно при таком направлении мысли, воображения, веры нужно будет персонажу дать возможность оснастить себя этим обоснованием и рассказать об этом так, чтобы повесть или роман не превратились в трактат, оставались художественными. Не мне судить, что в этом смысле уже удалось в первом приближении. Наверно, и самого приближения ещё не было, было только намерение такое приближение совершить. Но во всяком случае, я чувствую, насколько это сейчас для меня только область фантастики. Которая может нести в себе и научный смысл, научная ипостасная фантастика. И конечно, она может включать в себя опыт религии ипостасности, ипостасной веры. Именно так, в этих формах, в этом жанре, на этом пути я бы и продолжил свою ипостась.

2 марта 2020

Ипостасное литературоведение не пытается объяснить то, что неподвластно анализу и собственно научному объяснению. Оно должно признать, что есть область тайн, требующих веры. Но в ипостасном литературоведении есть своя научная сторона. Это чрезвычайно важно, поскольку до сих пор нет объяснения или, вернее, существуют неправомерные объяснения того, что проявляется в ипостасных соотношениях: ипостасная близость, ипостасный контраст, ипостасное противостояние в искусстве слова. Противостояние разных авторов друг другу и противостояние автора самому самому себе. Может быть, в этом особенность того литературоведения, которое возможно обосновать как ипостасное? Все другие попытки, все другие школы, направления тщетно пытаются объяснить то, что объяснить нельзя. Позитивизм в литературоведении накапливал факты. Конечно, здесь была и их классификация: тэновская триада – раса, среда, момент. Но попытка этим объяснить всё в искусстве слова не состоялась. Культурно-историческая школа, тем не менее, одержала свои победы. И не только в XIX веке, но, по

существо, и в советском литературоведении, когда оно избавилось от вульгарного социологизма, как тогда это называли. И когда оно постепенно отошло, по сути дела, от своей научной задачи и вернулось к заветам культурно-исторической школы, сняв лишнюю терминологию и введя, очень осторожно, марксистскую. При этом постепенно не только воюя и преодолевая вульгарный социологизм, но и вообще преодолевая социологичность. Вот почему получилось, что марксистское литературоведение пришло к своему отрицанию, само. Нельзя было построить историю литературы и используя чисто формальный метод. Теория литературы могла и в самом деле утолить свои амбиции, потому что речь, по существу, шла об утонченной, по возможности, адекватной применимости теории литературы к творческому процессу. К структуре, к тому, как сделан художественный текст. Но при этом история литературы не выстраивалась, ибо трудно было понять, как одна формальная система порождает другую.

Гуковский пытался в своей теории реализма объяснить внутренними противоречиями смену стилей, направлений. Классицизм – объективное, но абстрактное искусство; романтизм – конкретное, но субъективное; реализм это объективно-субъективное, художественно наиболее адекватное начало в искусстве слова. И он пытался показать на противоречиях классицизма, по большей степени на противоречиях романтизма, формирование реалистического стиля. Но эти амбиции, эти попытки таким образом объяснить самое тайное, самое сложное, самое необъяснимое в творчестве не могли увенчаться успехом. Концепция Гуковского известна, но на ней не завершается решение главной задачи истории литературы, хотя, казалось бы, оно должно было бы завершиться. Ипостасное литературоведение, признавая такую сферу в искусстве слова, в творчестве, в литературном развитии, которую невозможно объяснить логически, психологически, социально, определяет те сферы, где исследование возможно. Оно объясняет всё, что можно объяснить, останавливается перед тем, что объяснить нельзя, и передает свои задачи собственно религиозному началу в литературоведческой науке. Таким образом, происходит встреча регистров. Происходит допустимое, обоснованное соотношение собственно религиозного и собственно научного, что и требуется для литературоведения. Ибо, если это и наука, а это, действительно, наука – и

теория, и история литературы, и поэтика, если это, действительно, наука, то это наука совсем особая, специфическая.

Эти переключки, эти взаимовлияния религиозного и собственно научного в ипостасном литературоведении чрезвычайно интересны для исследования. И, разумеется, и теновская триада включала в себя не только то, что доступно, в принципе, исследованию, но допускала признание того, что это исследование будет неполным, несмотря на обилие фактов. Или вообще не будет достигать своей цели, потому что решить вполне проблему расы, среды, даже исторических изменений в момент невозможно на том материале, на той фактической основе, на основе фактов, которые введены в научный оборот. Сколько остаётся ещё за пределами. Как охватить бесконечность с помощью средств, рассчитанных на конечное исследование или объяснение.

Иными словами, скрыто, неосознанно во многом ипостасность присутствовала в литературоведении всех времён и направлений. Но существовала в каких-то особых формах. Неполнота, неокончателность исследования, приближение к завершённому ходу исследования и, вместе с тем, невозможность во многих случаях его достичь. Соответственно можно проследить такие моменты необъяснимого и в формальной школе, где приём был главным героем. А социологическое, марксистское социологическое литературоведение прямо подходило к неразрешимой или не разрешаемой на этих путях задаче. Ибо принадлежность к той или иной социальной группе, как показал вульгарный социологизм, не только не объясняет сложностей творческих исканий, самобытности и самостоятельности, противостояния даже тем истокам, которые, казалось бы, объясняют творческий путь художника слова. Вот вроде бы всё есть. И тем не менее, такое объяснение, которое открывает и, в самом деле, очень много верных моментов для истории литературы, для монографических исследований, для анализа текста. И в самом деле, не только формализм, но и вульгарный социологизм очень многое открыл. И надо бы сказать спасибо ему и переименовать его – чистый социологизм. Но тем не менее, очень многое в творческой судьбе писателя, его исканиях, в его особой позиции не только не объяснялось, но искажалось. Ну, характерный пример с Львом Толстым и с неожиданным для марксистов концептом перехода Льва Толстого с дворянских позиций на позиции патриархального крестьянства –

ленинская идея, как это произошло, почему это произошло, как это соотносится с самим принципом марксистского социологизма? Не есть ли это его опровержение? Ну, иными словами, всегда в литературоведческой науке была область, куда анализ, исследование, претендующее на полноту, не получали доступа.

Ипостасное литературоведение впервые должно соотнести то, что подчинено, и может быть подчинено научному анализу, и то, что требует иных доказательств, иной методики научной, научного исследования, иных форм полемики. Ибо без полемики развитие науки невозможно. Это ещё предстоит сделать. Я не хочу сказать, что вся задача в том, как свести религию и науку в литературоведении. Это только самое общее предчувствие того, как осознает себя, станет на твердую почву ипостасное литературоведение, ипостасная история, теория литературы и поэтика – наиболее сложное, соединяющее в себе историю и теорию литературы, исследование творческого процесса, его неповторимости и его законов. И самого главного – того, как это всё происходит, как рождается подлинно художественный текст, образ. Как приходит в мир это совершенно новое, оригинальное и неповторимое художественное мироотношение, воплощенное в искусстве слова. Неужели я не смогу хоть что-нибудь для себя самого прояснить и оставить после себя какие-то наброски, какие-то черновые подступы для того, кто продолжит дело?

3 марта 2020

Триады. Их три. Общее: тождество, индивидуализация, взаимопереходность. Внутрилитературное: искусство слова, критика, литературоведение. И ещё: религия, наука, искусство. Вот эти три разграничения нужно насытить фактами, нужно точно собрать материал по каждой из этих триад и соотнести их друг с другом в одном исследовании. Тогда искусство слова не будет уподобляться другим сферам духовной деятельности. Тогда наука о литературе обретет свою специфику, которую, как в методологических спорах довольно часто упоминалось, она теряла, ибо пыталась прислониться к другим сферам: к социологии, к математике, да и к истории. История литературы, естественно, это часть истории. Но она не должна прислоняться к истории. Самый термин «прислоняться»,

употребленный не мною, но, повторюсь, вот на одном из методологических диспутов в большом университете, нужно прояснить, поправить, скорректировать. И в итоге заменить другим.

Не прислонение, а ипостасное соотношение. И тогда и математика, и социология, история, и психология, разумеется, и многое-многое, что можно было бы перечислить, тогда они, не теряя своей собственной специфики, обретут особое качество соотношения с искусством слова. Но сделать это не так просто. Я пытался, когда писал статью о Державине для «Новой библиотеки поэта», писал тщательно, и ничего не получилось. Я только потратил время. Но, может быть, это не получилось для статьи. А вот для книги как раз мне тогда нужна была статья. И пришлось иначе, заново, в иной системе соотносить биографию, творчество, место в литературе великого Державина. И уже внутри каждого из этих разделов видеть соотношение религии, искусства. И попытки теоретически осмыслить свой опыт для Державина – это «Размышление о лирической поэзии или об оде». Теперь, было бы время, были бы годы жизни, я мог бы сделать то, что не удалось тогда. Здесь требуется такое погружение, такой анализ соотношения понятий. И всё это должно воплощаться в особом искусстве анализа.

Анализ предстал бы как своего рода ипостасное воспроизведение сознания поэта, творящего тот или иной текст: что он чувствовал, что думал, на кого опирался, кого вспоминал. Разумеется, всё должно быть подкреплено фактами. И многое из этих соотношений уже давно найдено в державиноведении, но всё-таки тут нечто совсем особое. Как воспроизвести сознание поэта, творящего оду «Бог»? С абсолютной, всеобщей опорой на факты. И будет ли это научное воссоздание? Может быть, здесь литературовед должен стать художником слова? И так и обозначить особенность своего исследования. Исследование как воссоздание, ипостасное вновь рождение момента творчества. Это мне очень интересно. Я думаю, в самом деле, родится некое новое направление не только в державиноведении. Нужно уловить, возвращаясь к этой теме, не только момент творчества, но и момент ипостасного восприятия текста. Причём, восприятия читательского. Но особого читательского. Твоего собственного. Исследователь Державина в какой-то мере должен стать его ипостасью. И тоже собрать все факты, все обоснования для того, чтобы понять и с точки зрения теории искусства слова и истории, и с точки зрения влияния и

воздействия других областей философии, психологии. Современности, моей сегодняшней современности.

Всё это так или иначе всегда бывало в исследованиях, но появлялось как бы поневоле и незаметно. И нужно было, по возможности, не допустить такие влияния ради чистоты научного знания, ради историзма точек зрения. И здесь всё это в ипостасном литературоведении сохранится, но будет восполнено другими проявлениями восприятия. Авторского, литературоведческого. И тут по-новому проявит себя так называемое функциональное литературоведение, изучающее восприятие текста. Но оно обретет ипостасную специфику. Очень многое другое. Михаилу Никитичу Муравьеву, гениальный современник Гаврилы Романовича Державина, тоже ипостасно соотносится с автором «Фелицы» и «Анакреонтических песен». И нужно понять это соотношение. Нужно не только логически, не только на фактах близости, совпадения, противопоставления и противостояния проследить, как соотносятся такие шедевры, как «Роща», «Богиня Невы» у Муравьева, «К Феоне» того же Муравьева и державинское зрелое творчество. Здесь чрезвычайно много нового будет открыто при условии, если автор не только в какой-то мере будет переживать ипостасность с самим Державиным, но и будет в состоянии как учёный, художник, критик, психолог воссоздать, описать ипостасность соотношения творческих индивидуальностей, стилей. Фантастика. Чем дальше, тем больше открывается простор, где встают новые и новые задачи.

И я чувствую, что готов к тому, чтобы попытаться их решать. Не знаю, решился ли бы я на такое погружение. Ведь так много художественного не написано ещё, столько замыслов. Они требуют работы. И сейчас вот та степень внутриипостасного единства в душе, которая позволит, и в самом деле, так, как требует душа, решать эти задачи. Поэтому, может быть, у меня не хватило бы сил на ипостасное литературоведение. Да, оно потребовало бы настоящих многолетних усилий и такого погружения, какое раньше мне не приходилось переживать. Александр Веселовский собирал факты и для своей исторической поэтики, и для монографии о Боккаччо, о Петрарке, для статьи о Данте, для книги о Жуковском. И он нашёл способ собирать факты. Это был творческий пересказ, где передавалось не только содержание, но и стилистика текста, но передавалось прозой, столь же яркой и увлекательной для читателя, как художественный текст. И вместе с тем, научно точный. Это

открытие Веселовского до сих пор практически не оценено в литературоведении. Здесь есть, чему последовать, и есть, чему научиться. Слово такого литературоведения будет научным, религиозно насыщенным и художественным. Но это для позитивистской концепции, которую разворачивал, пытался универсально выстроить Веселовский. А что же предстоит, когда ипостасное литературоведение откроет новые и новые стилевые, словесные способы не только изучения, но и воссоздания. Не только воссоздания, но и соотношения индивидуальных манер, индивидуальных судеб, индивидуальных искусств в словесных. Какой по-настоящему живой предстанет история литературы. Да и теория. А уж о поэтике я даже не говорю. Ибо именно в ней будет, во всяком случае, раскрыто то, о чём мы только что говорили – вот особый момент творчества. Поэтика не как последующая научная рефлексия, а поэтика как нечто, вооруженное всем арсеналом научного анализа воссоздания самого сложного, что только может быть. Искусства, самого искусства. Ибо создания такого, которое потребует всего богатства, всех возможностей научного, критического и художественного слова.

4 марта 2020

Ещё несколько слов для меня самого. Вдобавок к тому, что было вчера сказано. Ну вот, вчера я пытался обозначить возможность ипостасного истолкования функционального литературоведения, то есть того, которое изучает восприятие текста. Восприятие в основе своей ипостасно. Это можно обосновать. Тогда функциональное литературоведение будет во многом объяснено и восполнено. Но дело в том, что я много лет уже тому назад как-то в одной из статей своих предполагал такую классификацию методов литературоведческих. Функциональное литературоведение – не просто некое направление, это и метод. Историко-генетическое литературоведение тоже не то только направление, которое в основном характеризует литературоведческие исследования, а метод. Ну и ипостасное литературоведение выражается с особой глубиной и неожиданно в типологическом исследовании. Типологическое литературоведение тоже метод. И вот эти три метода могут быть соотнесены друг с другом. Приходилось мне писать о том, что наиболее удачен анализ текста, когда эти

три метода сочетаются. Функциональное вскрывает восприятие текста многими читателями, в том числе и автором исследования. Литературоведение типологическое обнаруживает связи между произведениями, между которыми нет генетической связи. Когда мы не можем сказать, что один текст повлиял на другой. И что это было осознано автором текста. А историко-генетическое исследование это тот случай, когда можно проследить влияние одного писателя на другого, одного текста на другой текст, когда один текст как бы порождает другой, или, хотя бы, отчасти в какой-то степени порождает.

Вот если это соединить при анализе одного текста, получится наиболее полный анализ, наиболее полное истолкование. Но я тогда не мог сказать, что такое соединение трёх методов предполагает не только их ипостасность, но вскрывает ипостасность самого погружения в текст. О функциональном я уже вчера кое-что сказал. Но здесь очень многое нужно обосновывать, психологически, не только психологически. Типологическое восприятие и исследование вскрывает самую суть ипостасности в литературоведении, ибо обнаруживает внутреннюю близость, связь, ипостасное единство с теми явлениями, с которыми у того или иного произведения нет генетической связи. Казалось бы, ничто их не связывает. На самом деле, они в чем-то удивительно родственны, есть сходство, есть противостояние, есть контрасты. И все они возможны только, если была бы генетическая связь. Но ее нет. Откуда же эта связь? Она ипостасна. Это наиболее острый момент в методологии ипостасного литературоведения. Но историко-генетическое литературоведение – даже более ясный вариант ипостасности, хотя типологическое вскрывает самую суть ипостасности. Одно влияет на другое, одно воздействует на другое. Возникает некая исторически определенная взаимосвязь явлений. И здесь ипостасность обосновать легче. Но только типологическое исследование вскрывает ее, ипостасности, универсальный характер.

Все равно, работу эту надо проделать. Надо погрузиться в методологию, проверить ее многократно конкретным анализом текста и показать, что полный анализ текста, предполагающий единство трех методов, сполна вскрывает ипостасную природу творчества в искусстве слова. Тут, конечно, целую книгу надо было бы продиктовать или написать. Я уже пробовал писать. В общем, писать я, наверное, всё-таки могу. Если

почерк делать более крупным, так, чтобы я тут же мог это прочитать, и не обязательно пользуясь лупой. Честно говоря, мне немножечко жалко того времени, которое мне отпущено. И не очень хочется в первую очередь посвящать вопросам методологии. Но если я почувствую, что времени у меня будет достаточно, что можно сделать то, что вот я делаю каждое утро, собирая свои заметки об ипостасной природе бытия, в религии, в науке, в искусстве слова. Это ещё недостаточно раскрыто. Мне ещё есть что наметить как возможное направление исследования, как тему, которой надо было бы заняться. Ну что ж, выздоравливая, а, наверное, все-таки процесс какого-то выздоровления всё же почти незаметно, но происходит, выздоравливая, я, может быть, успею всё то, что я задумал. Хотя бы вчерне, хотя бы в набросках. Хотя бы в размышлениях о том, как это может быть. И как это может осуществиться, если этому отдать свои нынешние силы и не жалеть времени ни на методологию, ни на историю литературы, ни на поэтику. Тем более, что всё это ипостасно художественному творчеству. А при глубинном погружении ипостасно вере, религии. Что ж, будем надеяться, будем верить. По крайней мере, то добавление, которое я сегодня сделал, нужно мне.

9 марта 2020

Итак, я продолжаю. Было 3 дня перерыва. Невероятный для меня бронхит с такой музыкой в горле, что можно было бы записать нового «Орфея», серьёзно. Такие мелодии и такое нарастание чувства. И там были и сольные ноты, и уходящие в бесконечность, затихающие. И многоголосье, довольно красивое, хотя и всё же не предназначенное, вроде бы, для музыкального звучания, когда вдруг одновременно звучат голоса самых разных тембров. И это тоже напоминает некий шквал, нарастание. Я это замечаю для того, что, может быть, когда-то пригодится. А теперь стало полегче. Правда, меня чуть не отвезли в больницу, в Боткинскую. И там, кто знает, я, может быть, тоже числился бы как некий с пневмонией, прибывший под подозрением. И в самом деле, иногда я думал, может быть, каким-то фантастическим способом я стал заразным, и меня поразили этот страшный, от которого сошёл с ума, вирус, этот коронавирус. А так как у нас, судя по всему, больных в России, в отличие от других стран, не оказалось, не

получилось бы так, что я буду единственным и в самом деле больным этим вирусом. Всё это ради смеха.

Но было так тяжело, что отнюдь не до смеха. Бронхит такой я не испытывал и в молодости, когда ходил в сольный класс и кашлял, и своим трахеитом никого особенно не удивлял, пел даже. А сейчас вот это уже не трахеит, что-то, может быть, более серьёзное. Но понемногу всё налаживается. Вчера был врач. И хорошо, что я воспротивился госпитализации и остался дома. Я бы не поехал ни за что. Уж умирать, так дома. Но мы ещё поживём, мы ещё повоюем, и мы ещё кое-что должны сделать в этом мире. Вот я поневоле ещё и ещё раз пробежал все эти три дня, не прикасаясь к диктофону, всю мою жизнь. И то, что замечено, и то, о чём я успел сказать. Всё это ничто по сравнению с тем, что надо собрать в душе из самых лучших мгновений жизни. Мгновений не только радости, мгновений иногда предельного отчаяния и боли. Такие мгновения могут оказаться лучшими тоже. Из них вот выстроить свою судьбу. Как она вырисовывалась, как она сложилась, и как на страшном суде – беспощадную, беспощадную оценку. «И слово беспощадное услышу я, /И с небывалой силы души /Ко мне, возможно, подойдёт погибшая. /И я скажу ей: больше не греши». Это конец моего «Экклезиаста». Последняя поэма, которую удалось в том первоначальном варианте закончить ещё летом. Как я ни пытался её доделывать, оказывалось, что всё-таки уже сложившийся вариант при всех его недостатках лучше. Ну, в таком случае надо, несмотря на явные недостатки, так и оставить.

У меня подобных случаев было несколько в жизни. И приходилось не только смириться с тем, что текст уже больше дорабатывать я не буду, но я оставлю именно таким, каким он сложился. Не то что смириться, а даже обрадоваться тому, что я этими своими поправками не уничтожил нечто такое, что, оказывается, всё-таки выразилось. Вот сейчас так и подмывает опять сесть за компьютер и вновь начать борьбу за более точное или более благозвучное слово. Но я запрещаю себе это делать. Пусть остаётся именно так. Как некая память о том мгновении, когда это совершилось. Когда я стал терять зрение и вдруг понял, что я не могу ни писать, ни читать. Больница, операция, обещание, что станет лучше, только не надо рассчитывать, что скоро. Долгие ожидания, которые давно уже нужно было бы принять как горькую правду – ничего не изменится.

Тем не менее, я как-то научился жить в таком состоянии. Что-то читать, и не только с помощью лупы, но порою и без неё. Доделал рассказ «Страшная сказка», а потом ещё несколько рассказов – «Мой дом», «Цепь». Последний рассказ о скульпторе. Я даже пробовал, помнится, несколько недель тому назад продолжить этот рассказ «Цепь». И задиктовал даже страничку о том, как скульптор потерял зрение. И как раз в тот момент потерял, когда он, взабравшись с помощью стремянки, в своей мастерской поправлял руку громадному монументу – памятнику Добролюбову. Скульптор этот в рассказе имеет, за пределами его, своего прототипа. Это Синайский Виктор Александрович. Но здесь он лишён многих своих примет. И вообще очень многое, из того, что можно было бы включить в рассказ, ушло или не вошло в него. И вот сейчас я чувствую, что с этим рассказом «Цепь» происходит то же, что с «Экклезиастом». Явно не достаёт в рассказе такого продолжения, такого погружения. И психологически я мог бы, более-менее достоверно свидетельствовать о том, что чувствует скульптор, внезапно потеряв зрение. Как вот осторожно спускается со стремянки и не падает на пол мастерской, как он продолжает памятью об осязании, памятью, возобновляемой новыми прикосновениями, видеть свой не вполне довершённый монумент.

И как неожиданно открываются такие силы, которые казались невозможными, фантастически невозможными, запредельно страшными. Нет, эти страшные силы стали добрыми, стали опорой, стали спасением. «И сохраняя прежнюю основу, /Я освободительно останусь жив. /Эпоху старую, эпоху новую /Моим Экклезиастом завершив». Вот, я вернулся к нормальной жизни. Однако, я знаю, что теперь неоднократно буду так возвращаться. Вообще, со мною происходит всё же нечто небывалое. Я привык к тому, что происходящее – уже так или иначе было. То, что происходит, это не повторение. Но это ипостасное подобие того, что уже произошло. И того, как это происходило. И вот, когда я себя убедил в правоте моего ипостасного верования, я вдруг почувствовал, что ещё даже не попытался по-настоящему страшно высвободить возможности и силы ипостасных проявлений. Такие силы, которые делают вновь происходящее небывалым, совершенно не похожим на то, что было, абсолютно чуждым ипостасному подобию. И тем не менее, именно такое, неожиданное, небывалое, новое и оказывается ипостасью. Во всяком случае, после этих трёх дней, когда я чуть было не стал

героем всей России, единственно заболевшим, не пострадавшей от этой мировой эпидемии, от которой люди ещё не знают средства излечения, когда оказалось, что это всё естественные, поэтому страшные, но фантазии, я уже немножечко другим человеком возвращаюсь к себе самому.

11 марта 2020

Ипостасная вера не отрывает идею от реальности, которая эту идею породила. В понятие реальности здесь можно включить всё. В том числе, и физиологию, физиологического человека, в мозгу которого когда-то в какой-то момент идея возникла. То, что сделал Гегель в науке логике совсем не обязательно для ипостасной религии. Тем не менее, можно рассматривать ипостасно идеи, соотнося их друг с другом. Это особенно сложно, потому что кажется порою – необъяснимо и невозможно легко идея сама отрывается от реальности, сама входит в своё царство, сама имеет своё умное место, как выразился бы Платон. И на это уже давно было обращено внимание. И целые философские системы строятся на этом разграничении мира идей и реального мира. Идеализм, материализм тоже противопоставляются и соотносятся на этой основе.

И тем не менее, система Гегеля, которой так часто достается у нас от наших православно мыслящих философов, система эта может быть рассмотрена ипостасно. И при том, что она есть лишь отвлечение от живого бытия, с которым в целом мир идей ипостасен. Вот, несмотря на то, что она так легко, казалось бы, открывается от этого мира и выстраивает свой собственный мир, она не только может, но нуждается в ипостасном веровании, в ипостасном анализе, в ипостасной образной проверке и перепроверке. И лишь когда эти три подхода по-настоящему фундаментально будут применены к миру идей, только тогда можно сказать о том, что их специфика, их природа если не познана, то, по крайней мере, заново почувствована. Вся система Гегеля, предполагающая инобытие абсолютной идеи, её вновь самоосознание самого явления инобытия, её возврат к себе самой, возврат, обогащённый самопознанием абсолютной идеи. Казалось бы, вот этот вопрос о происхождении идеи, о её соотношении с миром вещей, с реальностью раскрыт с невозможной, запредельной, почти безумной полнотой. Кто-то, применительно к идеалистической немецкой

философии, применил формулу Полония по поводу гамлетовских размышлений: это безумие, но безумие, в котором есть логика. Или: это безумие, но вполне последовательное (перевод Пастернака). Да, вот работа эта безграничная проделана. Больше того, кажется, что история философии только и проделывала эту работу.

И, тем не менее, понятие ипостасности не было применено к такому всестороннему, всеохватывающему самовыявлению абсолютной идеи. Диалектика? Да. Но не ипостасность. А нам уже приходилось говорить, что сама диалектика, своей, казалось бы, особой логикой, своей неизъяснимостью, если говорить о причинах и движущих силах, она есть прямое отражение, прямой слепок ипостасности. Перевод этого непостижимого феномена на язык идей. Но даже в таком переводе Гегелю пришлось выстраивать свои логические принципы, вносить поправки в основные законы логики. В том числе, и в закон тождества, который он называл простой, ведущей к простому пониманию тавтологией, подменяющей познание. $A = A1$ для Гегеля был такой формулой тавтологической. На самом деле, здесь речь идет не о тавтологии. О том, насколько вообще возможно на языке идей передать ипостасность. Что-то будет передано. И Гегель постарался. Да и не только он. И его предшественники, те, кто прозревал диалектику и так или иначе, осознанно или неосознанно, уже применял её. И последователи, развивавшие идеи и систему Гегеля. Тем не менее, так как они не применяли этого понятия ипостасность, их объяснения не давали ясности. Объяснение было, ясность не возникала. Оказывалось чем-то вроде постулата, утверждения, не требующего доказательств, чем-то вроде условности, присущей безусловному для идеалиста миру идей.

Вот теперь открывается возможность, применяя термин ипостасность, применяя это понятие, не только термин, на каком-то совсем особом языке, может быть, ещё не открытом, пересмотреть эти грандиозные, созданные идеалистами системы и почувствовать, что они, при таком понимании и истолковании, неожиданно перестают быть абстракциями. Неожиданно возвращают мысль и чувства, и опыт человеческий в тот реальный мир, от которого они были отвлечены. И происходит это естественно. И попытка не допустить такой возврат сугубо условна. И поэтому, если всё равно человеческая мысль возвращается в мир реальности, если умное место

Платона, мир, идеи вновь обретают плоть и кровь бытия, иными словами, если совершается такой возврат идеи к своей природе, своей колыбели, своей стихии, то это нельзя отменить. Это можно лишь условно приостановить, условно подвергнуть отвлечению, которого на самом деле нет. И такой способ, такой метод философствования неожиданно обещает чрезвычайно многое. И не только обещает, но выполняет свои обещания. Оказывается, путь от реальности в мир идей и обратный путь от идей в мир реальности с помощью вот этого принципа, с помощью точного применения понятия ипостасность – это разные пути. Их нужно ещё проделать, чтобы понять, насколько аналитическая отвлеченность, перерастая в синтетическое вновь рождение, сполна утоляет духовность поиска. Причем, утоляет так, что, оказывается, вера, анализ и образная мысль не просто обнаруживают свою ипостасность, но соединяются в некое новое, ещё не познанное, ещё не обжитое целое.

Да, я этим занялся бы, если бы мне было вдвое меньше лет, чем сейчас. Но я боюсь, что и сейчас, и теперь, в мои 84 года, я всё-таки этим вчерне займусь. Или поручу кому-то из своих героев, из своих персонажей, этим заняться. И сознание такого персонажа тогда будет обращено ко всему богатству современного человеческого опыта. И будет найден язык, какого ещё нет и который так естественно возникнет как самый счастливый дар, который познание может вручить человеку; которым оно может его обогатить, когда он вернется из мира идей в мир реальности. Понимая, что эти миры связаны ипостасно и признавая неисчерпаемость этой обратной связи. Так и хочется начать этот, казалось бы, бесконечный и безумно обращённый к неизмеримости бытия путь философского поиска. Вот я его уже для себя начал. Хотя то, как я начал, ещё не принесло ни одного плода. Не помогло разрешить пока ещё ни одной задачи. Но я предчувствую такое разрешение. И это будет чем-то, надеюсь, новым и небывалым по сравнению с тем, что мыслью уже было проделано прежде в обратном направлении: от реальности к миру идей, от абсолютного бытия к абсолютной идее, от обычной человеческой логики к той особой, божественной, ипостасной логике поиска.

... Идея принадлежит ипостаси, абсолютная идея принадлежит всему бытию. Ну, а так как идея есть абстракция, она теряет свою генетическую принадлежность. Она оказывается способной быть принадлежностью разных

ипостасей. Она, таким образом, не принадлежит никому и ничему из ипостасного мира. Но это только кажется. Это есть та элементарная условность, которую допускает философская мысль. Хотя, если вспомнить диалоги Платона и размышления Сократа в «Пире» о прекрасном: как от отдельных предметов мысль поднимается к познанию прекрасного как такового. Если всё это вспомнить, то вот кажется, что и в самом деле есть некая абстрактная сущность, которая не только не принадлежит ипостасному миру, но, больше того, самостоятельна по отношению к нему. И настолько самостоятельна, что, возможно, оказывается причиной бытия. Это всё кажется. Когда ту или иную идею, потерявшую своего хозяина, мы хотим вернуть в реальный мир, перед нами открывается бесконечная возможность, бесконечно разнообразный выбор. И даже не то слово – бесконечно разнообразное, жаждущее возврата идеи бытие.

И вот поэтому думается, что такого рода возвратное ипостасное познание поставит человека как бы в самом начале пути. Нужно заново открывать реальность во всех её деталях, во всех родах и видах, подробностях, возможностях. Но если вспомнить, что всё это, что нужно открыть, есть тоже мир ипостасей, ипостасный мир, то этот изначально бесконечный во всех отношениях мир, в который нужно вернуться, этот путь может быть сокращен за счёт того, что, как бы идея ни отрывалась от своего хозяина, как бы она ни была способной принадлежать любому сознанию и стать его инструментом, его какой-то совершенно элементарной предварительной операцией перед тем, как совершить настоящее погружение, как бы от всего этого ни была отвлечена идея, она несет на себе печать ипостаси. И не только той, которая её породила, а и той, которой мы можем вернуть её или обратится её, переходя из царства идей в царство вещественного, осуществленного, проявленного бытия. И вот тут чрезвычайно важно присмотреться к идее, какой бы абстрактной она ни была. Чем абстрактнее, тем богаче тот мир, в который она вернётся. Здесь не нужно ждать подсказок. В этой бесконечности, возведенной в степень самой себя, только твое ипостасное человеческое сознание делает выбор. Прежде всего, оказывается, что этот выбор делаешь ты, будучи ипостасью. Со всем присущим именно тебе богатством связей, опыта, со всей духовной историей своего «я». Идею надо вернуть этому миру. Или подарить этому миру, и она будет принята благодарно, природно. И меня охватывает необычайная

тревожная радость. Я продвигу, как это можно сделать. А это не только удваивает духовное бытие. Это делает его, это бытие духа, бесконечным. И насыщает любое направление в этой бесконечности таким человеческим содержанием, какого именно ждёт и жаждет твоё сознание. Ты начинаешь творить, и идея обретает жизнь. При этом она не исчерпывает своей жизни, она может быть источником опыта других ипостасей. Не источником, это не совсем точное слово. Именно это особое свойство идеи и породило мысль о том, что она источник всего. Что она есть то слово, которое было в начале. И которое было у Бога и было Богом. А на самом деле, свойство идеи в неизмеримом, непредставимом по своему богатству реальном окружении, ипостасью которого оно является. И куда ее нужно возвращать и уметь возвращать. Так, чтобы и сама идея, и бытие, в которое она возвращается, обрели бы новую жизнь. Иными словами, получили бы ещё одну небывалую ипостась.

12 марта 2020

Итак, идея возвращается в ипостасный мир реальности. При этом сама она – ипостась мысли, той мысли, которая саморождается и может не прерываться. Вообще это для художника слова имеет значение. Ипостасность идеи, погружённой в большой контекст бытия. А иначе и не должно быть. Настоящая идея всегда погружена в такой большой контекст. И как мелодию композитору, кажется, почти невозможным, и возможным только благодаря чуду родить небывалую, небывалую форму и содержательность, воплощение. Кажется, что все сочетания, звукосочетания уже испробованы, и вдруг рождается совсем новое сочетание. И композитор чувствует: да, оно будет жить, оно будет принято людьми, оно войдет в бытие и в быт, оно станет одним из голосов реальности. Вот точно так же и идея. Думается, что нельзя родить новую идею или только чудесным способом можно её обрести. Но когда сама возможность идеи включена в этот большой контекст, ипостасный контекст, не просто большой, ипостасный, тогда неожиданно и легко она рождается. И рождается именно то невозможное, что так и грезилось, так снилось, так предчувствовалось. И это рождённое тебе доступно.

И будучи включена в этот громадный, большой, органический, непостижимый, божественно чудесной контекст, она, идея, может жить в нём и действовать. И даже быть причиной событий и умонастроений, и целых движений. И в войне, и в мире, в надежде, предощущении и, наконец, в свободном проявлении, как сказал Пушкин. Она, эта идея, начинает жить. Покидая мир абстрактности, хотя этот мир тоже ипостасен, если не вырывать его искусственно из большого контекста живых ипостасей. Тогда удивительная вещь: тезис в логике – ипостась, антитезис – тоже ипостась. И синтезис есть ипостась ипостасей. Если вырвать эту логическую последовательность из того контекста, о котором идёт речь, то такая форма и такая формула развития мысли, такая диалектика мысли может быть понята как некое творческое свершение. Но может быть понята и как катастрофа, разрыв. И в этом втором случае трудно представить, почему так необходимо вот это появление антитезиса. Почему антитезис есть продолжение мысли, а не ее разрыв, перерыв. Что заставляет антитезис являться навстречу тезису? И опять та же закономерность, радующая душу, потому что получается: чисто противоречащий антитезис бытия побежден, опровергнут. Вот он напротив меня сидит и не может понять, почему он опровергнут. До него ещё не дошло. А тем не менее, это так. И тогда все размышления о равноправии добра и зла, о договоре Господа с Противоречащим в книге Иова, о договоре, при котором Господь знает, что перерыва не будет. А Противоречащему кажется, что он победил. И он заранее торжествует победу, которой на самом деле не будет. Именно такой мир утверждают лучшие книги Земли. И «Фауст» Гёте.

Не так просто вернуться к русскому опыту. Как это у Пушкина в сцене из «Фауста», скажем, или в том же «Онегине». И с другой стороны, как это у Толстого, и почему это так мучительно у Достоевского. Но само страдание и сама кажимость разрывов есть свидетельство недостаточного осознания ипостасной природы мысли, духовных исканий, блужданий, заблуждений, при которых всё равно твердо знаешь верный путь. Почему у Пушкина в сцене из «Фауста» нет торжества абсурдной и беспощадной дьявольской силы? А Фауст, который, казалось бы, ничего не может возразить на доводы Мефистофеля, насчёт той же любви, Фауст, этот Фауст, оказывается всё равно неким хозяином жизни. Он властен распоряжаться Мефистофелем. Правда, его поведение разрушительно – «всё утопить», но оно может быть иным. В

этой бесконечности, наполненной скукой, сцена из «Фауста» есть лишь сцена. Да, будет сменена другой сценой, всей трагедией в целом. Вот почему, дописав «Онегина», Пушкин почувствовал необходимость большого, по-новому большого контекста, который не сводится только к бунту. Тема, которая, конечно, его интересовала чрезвычайно в тридцатые годы. Но есть и другое, есть более высокого уровня свершения. И русский Фауст предназначен их совершать. И вот представить себе этот новый большой контекст, который, кстати, вберёт в себя и наш опыт 20 и начала 21 веков, Пушкиным был почувствован как великая творческая возможность. И смерть прервала эту живую величайшую ипостась. Ипостась всегда по-настоящему жива, кроме, конечно, случаев подмены. А подмена эта очень вероятна, когда мы забываем об ипостасном контексте. А может быть, и тогда, когда, не осознавая этого еще по-настоящему, не поняли и не признали этот контекст. И то, что это впереди, и то, что это предстоит, опровергает Противоречащего. И не только у Пушкина. У Байрона тоже. Но то совершенно другое опровержение.

И вот здесь мы подходим к важнейшей проблеме русской ипостасности. Ещё раз возвращаясь к Пушкину и к его замыслу – замыслу его, Пушкина, «Божественной комедии». Другой, не такой, как у Данте. Той, которую так или иначе создавали, совершали, разрешали и вновь собирали в грозном проблемном поле бытия лучшие писатели. И Толстой, и Достоевский. Во всяком случае, у каждого из них идея, вернувшаяся в большой ипостасный контекст, могла признать, осознать, открыть в себе свою ипостасную природу. И в лучшие мгновения творчества так оно и было. Именно такой возврат к религиозному началу духовной культуры, которая, пройдя испытание аналитическим переосмыслением, аналитической перепроверкой, дарит автору живую образность, обрекая идею живыми, по живому волнующими прекрасными, ужасными, но живыми, обреченными на вновь рождение, тканями бытия. Той самой живой одеждой, которую Дух Земли на бушующем станке времени творит для Бога.

13 марта 2020

Идея сознания жизни, отвлеченная от жизни, возвращается в жизнь, как и всякая идея. Но у этой особая судьба. И вот я думаю, не происходит ли

подмена идеи сознания жизни, того, что мы называем бессмертием души, и того, что мы называем реинкарнацией. И можно приводить другие примеры. Нет ли здесь подмены? Отвлечение от жизни тоже ипостасно. И поэтому идея сознания жизни есть своего рода ипостась. И как ипостась она должна быть соотнесена с идеей бессмертия души. И с душою человеческой, ибо душа это и есть проявление ипостасного бытия. Так вот, нет ли здесь некоей подмены? При универсальном ипостасном подходе такое исключено. Конечно, надо перепроверить своё отношение к платоновским идеям. Они, по Платону, по платоновскому Сократу, существуют. Существуют как некие субъекты и объекты познания, существуют как квинтэссенция вещей и вещественных проявлений.

А как же с точки зрения ипостасного универсального осмысления бытия? Это важно решить. Может быть, решить это и невозможно, но, по крайней мере, поставить вопрос о том, что это надо решить. Вот у Льва Толстого такая подмена произошла или нет? С его культом сознания жизни, с тем, что он объявляет это сознание самой подлинной жизнью и чувствует её вневременное и внепространственное существование: «Я всегда был и всегда буду». Мысль эта должна была, по замыслу Толстого, обрадовать каждого, кто её узнает. Но не содержит ли она в себе подмены понятий? Да, сегодня вот выпало мне такое утро. Когда-то я должен был задуматься, не просто задуматься об этом. Я думал об этом так или иначе всегда. Не выводя каких-то определений и не разграничивая понятий. А вот решиться на попытку разрешения этой загадки. Ведь вот, вроде бы, само понятие идеи предполагает отрыв от всего многообразия вещественных и материальных проявлений бытия. То есть само по себе оно несет в себе опасность подмены, коль скоро это отвлечение от опыта бытия – ради глубинного проникновения в этот опыт и руководства им. Само это отвлечение предполагает условность, которую нельзя забывать. И коль скоро здесь происходит обожествление этой условности, она, как условность, забывается.

И возникает мифология сознания жизни, не только человеческой. У Шесталова была идея сознания природы. И он создал, в черновике, разумеется, Академию сознания природы. И я писал устав этой Академии и был им назначен как её вице-президент. И тогда мы должны были многое обговорить. И мы этого не успели сделать. Это осталось недоговоренным. И

вот я чувствую, как во мне оживает мой друг. И сегодня утром он, наконец, призвал меня к тому, чтобы мы это договорили и обсудили.

Сознание жизни как сама подлинная жизнь. Оно, это сознание, неотрывно от бытия. И потому, повторим, самое понятие идеи, условное по природе, открывает возможность какого-то особого знания. И, может быть, вот то, что до сих пор не удавалось это обговорить, свидетельство того, что когда-то настанет момент, когда недосказанное будет выражено словом. И здесь слово будет уже не в начале, а в финале такого проникновения. Будет венцом того, что мы называем сознанием жизни. Будет его сначала идеальным, а потом, когда оно вернётся в необъятное богатство бытия, оно станет реализованным, выявленным. Ну, так как же всё-таки с этим разобраться?

Действительно ли ипостасный подход преодолевает эту условность? И значение его как раз в том, чтобы мы не только помнили о ней, но и преодолевали её каждый раз. Преодолевали, сохраняя те преимущества, которые она даёт. Ну, совершали то, что в философии называется «снятие» – отмена и одновременно удержание. Мне было бы жаль расстаться с предположением, что сознание жизни существует само по себе. И может быть в какой-то особой ипостасной форме быть отвлечено от вещественного многообразия бытия. Я звал себя в одном из своих стихотворений, которые цитировал уже неоднократно, звал себя бежать от «эпицентра потусторонних тайн». Но осознание жизни не является потусторонним. Наоборот, такой психолог, как Толстой, видел именно в нём достаточное свидетельство о том, что я существую. Не просто декартовское «Я мыслю, значит, существую». Я существую, поскольку сознаю себя и поскольку сознаю своё существование. И поскольку моё существование осознает самое себя. Ну что ж, пускай остаётся эта безусловная условность, коль скоро она становится ипостасной. Оно не приведет к тупику мысли. А это главное в определении верности твоего пути.

Ещё и ещё раз повторим: главный грех человека не то грехопадение, о котором повествует книга «Бытия». Не познание добра и зла, как подсказал и поправил Господа Противоречащий (или сатана, или змей искуситель). Грехопадение это недостаточная мысль об ипостасности всего сущего. И поэтому здесь нет греха, если думать о том этапе духовного бытия, когда ты ещё не сумел, не смог впервые для себя определить универсальность

ипостасного мироотношения, ипостасную универсалию. Вина твоя в том, что ты чего-то не додумал, как и мы с Юваном Шесталовым кое-что не додумали. И вот он ушёл из жизни и оживает во мне, чтобы я завершил недоделанное. А вот когда ты уже осознал самый принцип ипостасного бытия и намеренно, зная, что ты идешь против себя, зная, что ты совершаешь подмену, ты от него отступаешь, вот тогда это грех. И грех, который ведёт ко всем бедствиям, предстоящим тем, кто осознал ипостасную универсалию. Да, таким образом, страх бытия и послебытия снимается.

Употреби все возможные силы свои на то, чтобы осознать эту универсалию, и ты почувствуешь, что достиг той гармонии духовного самоосознания, к которой стремится всё твоё существо. Употреби, не отступая от себя, не отступая от своего друга, который оживает в тебе. Продолжай этот разговор с ним и с самим собою. И тогда будет ясно, что любое обожествление идеи, ипостасное по своей природе, несёт в себе свою правду, обогащает жизнь, открывает такую неслыханно необъятную панораму познания и осознания возможности твоего самопознания, что это открытие само по себе снимает противоречия, снимает условности и перерастает в радость. Которую Данте пытался передать в последних песнях «Рая». И стоит вчитаться в его терцины. Это именно то, чем мы должны были бы заняться сегодня, если бы Юван не ушёл. Но он вернулся. И мы совершим то, что до сих пор не успели совершить. И даже страшно, от радости страшно подумать о том, как он по-настоящему вернётся в такие минуты. Это одна из тайн. Это тайна тайн. И если бы он не ушёл, и Академия сознания природы была бы жива, мы бы с помощью погружения в эпос различных народов, ту особую философию жизни, когда идея еще не была отвлечена от вещественного богатства бытия, но по-христиански осмысляя и осознавая эту, казалось бы, языческую целостность сознания и жизни, мы бы совершенно по-новому сказали об очень многом. Книжку, которую мы с ним вместе задумывали и которая вышла уже много лет тому назад, где он сам пытался собрать единомышленников или тех, кто был близок к единомыслию с ним, где он много цитировал меня из моей же поэмы «Данте», предоставлял мне возможность словом выразить кое-что из того, что нас объединяло; вот, выпустив такую книгу, он нашёл некоторых читателей. Были те, кто категорически отвергали такой опыт. Но были и те, кто проявляли к нему глубокий интерес. И я чувствую, что ненаписанная

повесть, которую я вот так задиктовываю по утрам, что эта повесть – продолжение и той книги Ювана Шесталова, и моего ипостасного участия в ней, и тех мгновений, когда мы с ним были так едины, так понимали друг друга, так взаимопроникали друг в друга, что воистину возникало ипостасное единство: тождество, индивидуализация и взаимопереходность. Ну что ж, значит кое-что было в нашем духовного опыте, и кое-что найдет продолжение. Но до конца вопрос, вставший передо мной сегодня утром, всё равно так и не будет решен. Живая тайна будет ускользать от познания с тем, чтобы вновь возвращаться.

14 марта 2020

Ипостась, отдающая идею, и ипостась, её, идею, принимающая. Они разные, но переход между одной и другой, от одной к другой, совершается, часто совершается. Сколько раз это было в моей жизни. Я принимал идею. Было и то, что я называю способностью ипостаси отдать идею. Вся жизнь этому посвящена. Как принято то, что я отдаю? Для этого нужно изучить то, как я принимаю. И здесь будет выявлен, проявлен общий закон межипостасных связей. И это всё человеку дано, равно как и осознание тех мгновений, когда не состоялось приятие от одной ипостаси к другой. Я помню такое мгновение. Их много, но сейчас вспоминается одно.

Когда я был в гостях у Ювана Шесталова в Ханты-Мансийске, он, естественно, повез меня в то урочище, которое было ему выделено, для того чтобы там он мог создать свой особый шесталовский центр. Центр камланий, очищений. Это было где-то в 30 км примерно от Ханты-Мансийска. И там роскошные, полноводные, подобные рекам, текущие чёрной непроглядной водою ручьи вливаются в великую священную систему слияния Иртыша и Оби. Там, на взгорочке, крутой берег одного из таких ручьёв, Юван и выстраивал свой центр. И вот мы уезжали как-то от этого места. И это было мое последнее пребывание там. Это было моим прощанием с этим местом. А там Юван выстроил башню, еще были некие строения. На словах, я думаю, что в реальности такого не было, он обещал мне в этой глубине этого взгорка, под землю, обустроить комнату для меня. Чтобы я там осуществлял свои – свои камлания, чтобы я там собирал свои мысли, и они слагались бы в строчки стихов. Об этом месте можно многое рассказывать. Но вот момент

прощания с ним мне запомнился и тревожит меня. Автобус с другими гостями ждал нас на шоссе. А мы спустились по берегу этого полноводного чёрноводного ручья, который по ширине равен реке.

И там Шесталов хотел, чтобы я, сняв с себя одежду, искупался в этой воде. Как это сделал он и один из его гостей, который нас сопровождал. А я слышал, что у манси особое отношение к воде и купанию в ней. В общем-то, нежелательно было такое разоблачение, такое погружение в воду. Оно чем-то было обидным для воды. Сам Шесталов не разделял, видимо, такого верования. У него было особое отношение к себе, к своей роли, к своей миссии. Он считал неслучайным своё появление, своё предназначение к тому, чтобы собрать в своём сознании, в своей памяти, в своём творчестве весь духовный опыт предшествующий и сказать новое слово. Это ему было как бы предназначено. Но он не мог признать неизбежность своей смерти. Он чувствовал, что он предназначен для жизни вечной. И жизни, по-язычески овеществленной, проявленной. И это особое его отношение к себе он выражал и в купании, которое могли видеть другие гости из окон автобуса, если бы они посмотрели оттуда на берег ручья.

Да, он в этом мощно текущем, подобном реке, ручье искупался как хозяин бытия. И совершил это как некое камлание. И ему нужно было, чтобы я сделал то же самое. Сопутствующий нам гость это проделал, но это казалось незаметным. Он ждал, что я сделаю так. И тогда наша ипостасная близость достигла бы особой степени. Той степени, когда рождается слово, рождается стих. И в какой-то момент становится прозрачной, преодолимой, проходимой, проницаемой грань между нашими двумя ипостасями. Я тогда этого не сделал. И не только потому, что меня могли видеть из автобуса, и даже не только потому, что знал об этом поверье относительно купания в воде, нежелательности соприкосновения голого тела и живой, насыщенной таинственными силами, воды. Не только поэтому.

Я чувствовал, что у меня есть своё предназначение. Оно совсем другое. Оно ипостасно близко тому, которое осознавал Юван. Но оно другое. И я не мог просто взять и присоединиться к тому, чего он ждал от меня, и к тому, что совершил сам. Юван почувствовал, что здесь совершился какой-то если не разрыв, то, во всяком случае, возникла некая ещё одна грань, межипостасная грань, которую он не хотел, чтобы она возникала. Он вообще ведь не исповедовал ипостасной веры. Ему было достаточно его собственной

ипостаси, и она предназначалась к тому, чтобы вбирать в себя все другие, с какими судьба его свела. Но он чувствовал, что наша дружба особая, она двухголосая, и, вместе с тем, она связана чем-то, может быть, ещё большим, чем растворение одной ипостаси в другой. Тогда мне показалось, что я всё-таки что-то передал ему, нечто от той идеи, в которую веровал. И он недовольно бормотал нечто по поводу того, что я не решился искупаться нагим телом. Но я чувствовал, что он принял то, что я ему передал. И что такая проходимая, проницаемая, преодолеваемая межипостасная грань есть особая форма единства. Особая и, может быть, единственная форма сближения.

Не слияния, а сближения, родственности между двумя человеческими «я». И что вот потому, что я поступил именно так, эта глубинная связь стала еще более родственной, более осязаемой, богатой и спасительной для нас обоих. Вот сейчас, мне думается, он меня слышит и, наверное, не может не согласиться со мной. Быть может, не соглашается поневоле – ему пришлось уйти из мира раньше, чем мне. Но я думаю, что и не против воли это может быть сейчас, в эту минуту. Это совершается взаимно, добровольно. И вот чувствуя, осознавая, возможно, в другом ипостасном проявлении себя самого, он не сливается со мною, как казалось, казалось бы, можно было предположить. Мы ведь с ним ипостасны. И такое слияние одна из возможностей непостижимого инобытия, которое пронизывает своей духовной правдой бытие. Но очень важно было нам остаться собою каждому – мне ещё в этом мире, ему – уже в том. Он и сейчас, может быть, с некой досадой вспоминает то, о чём я рассказываю. Но он знал меня, он узнавал себя во мне. Ни он, ни я, мы не должны были отступать от себя. И тогда на берегу этого многоводного ручья скрепилось и освятилось связующее нас единое и бесконечно многообразное ипостасное начало. Я чувствую это, я верю в это, и я как будто слышу его голос и вспоминаю ту особую добрую улыбку, с которой он обращался ко мне, когда мы возвращались от ручья к нашему автобусу, где нас ждали другие. И было чрезвычайно тихо. Всё как будто замерло, и только чёрные воды этого широченного ручья мощно текли с тем, чтобы влиться в одну единую реку. И я представил себе, что было бы, если бы я не справился с этим мощным течением и меня бы отнесло по этим чёрным водам далеко от того места. И я вступил бы в эту таинственную и священную воду. Сам Шесталов справился, справился и гость,

сопровождая нас. А я чувствовал, что Юван понимает то, что произошло, так же, как я. И поэтому примирительно и добро улыбаясь, он возвращал меня от нашего священнодействия к обычной жизни. Мы сели в автобус и поехали в Ханты-Мансийск.

15 марта 2020

Был хмурый тёплый безветренный день. Честно говоря, мне не хотелось уезжать, подыматься по тропке к мостовой, где стоял наш автобус. Но я не мог и остаться здесь один. И невольно прощаясь с этим местом, грустил о том, что больше никогда не появлюсь здесь. Через мост был путь пешком до Ханты-Мансийска. И просто хотелось одному пешком пойти туда в сторону города, Ну что, какие-то 30 км. И я чувствовал, что тишина скрывает почти неслышный шум текущей воды. Она бесшумно текла, протекала под мостом, так же широко ручьем, чёрным ручьём, огибала полуостровов, на котором Шесталов выстраивал своё урочище, и где, по его словам, была моя комната под землёй. Этот полуостровок порос соснами, за ним открывалось ещё более широкое водяное пространство, но это тоже был уже не ручей, некий приток, вливавшийся в эту великую систему большой воды. Которая все равно чувствовалась, даже когда, идя по шоссе, я терял бы её из виду. Большая вода была рядом. И прислушиваясь, я, наконец, мог уловить какой-то почти полностью растворённый в тишине голос воды.

Если бы я и в самом деле остался один и пошёл бы в Ханты-Мансийск пешком, я бы не жалел, что оставляю это место. Здесь было некое присутствие чего-то таинственного, сакрального. Трудно было не поверить в то, что вот на этом древнем урочище собираются какие-то духовные силы. Ведь участок, выделенный Ювану для его урочища, был вообще-то каким-то древним местом погребения. Только авторитет и масштаб Шесталова преодолел невозможность получить такое урочище для создания особого шесталовского центра. Но и в самом деле, основоположник мансийской литературы великий поэт, шаман, имел право не только выстроить здесь свою каменную башню, но даже и для меня определить под землёй, внутри этого круглого полуостровка, свою комнату для размышлений. Я мог бы остаться там один. Было о чём подумать, было с кем побеседовать. И с Юваном я уже давно беседовал на расстоянии. Как некий природный Бог, он

появлялся мысленно передо мною. И так естественно было увидеть его лицо. Человек невысокого роста с неким особым выражением. Он как будто улыбался всегда. Даже когда ему не было весело, и даже когда творческая мысль дремала, он всегда был готов к тому, чтобы мгновенно собрать себя. И произнести нечто такое, что мог бы сказать только он. При этом я не видел ни разу, чтобы лицо его выражало неприязнь, чтобы оно было злым. Доброта шамана сквозила, одушевляла эти черты. И было впечатление, что либо смотрит на тебя, либо незаметно за тобой подсматривает. Но я всё это оставил, поднялся с ним вместе до нашего автобуса, и мы поехали.

Вечер темнел. По ту и по другую сторону шоссе было такое, до самого горизонта уходящее пространство, залитое водою, но стоящей водою, поросшей травой, неглубокой. И вот по этой, по этому простору и была проложена уходящая в сторону города линия шоссе. Это была длинная, уходящая тоже до горизонта, насыпь. Я представил себе, как я мог бы идти по этому шоссе – справа вода, слева вода. А на горизонте справа вспыхивали и горели фонтаны сжигаемого газа. Картина почти фантастическая. Страшная. Но я шёл бы, шел, думал бы о своём и беседовал бы с ним мысленно. А сейчас в автобусе он сидел против меня со своею хитрой, мудрой, доброй по отношению ко мне улыбкой и что-то говорил.

А я отвечал невпопад и, кажется, тогда впервые заговорил с ним, почти не слушая то, что он только что промолвил, заговорил с ним о нашем ипостасном родстве. И о том, что когда кого-то из нас не будет, другой, оставшийся, другая ипостась единства продолжала бы жить. И что сделать и как научиться не просто на мгновение быть, но жить в другой ипостаси, принять её, и при этом оставаться собой. И он смотрел на меня удивлённо и, казалось бы, о чем-то думал. На самом деле, у него был готов ответ. Но он молчал, потому что полагал, что это моя забота. Останется он. Это мне нужно научиться жить в его ипостаси. Он не мог допустить, что будет иначе. Мысль его об этом, вспыхнувшая и вот-вот готовая выразиться каким-то, ещё не зарифмованным, но точным певучим словом, угасла у меня на глазах. Я видел, как он перестал думать об этом и опять заговорил о чём-то другом. Я молчал. И спустя некое время Юван догадался, что значит это молчание. Взял меня за руку и заглянул мне в глаза. А в это время справа и слева этот уходящий до горизонта, поросший травой, водяной простор сменился лесом. Всё погрузилось во тьму позднего вечера. И я продолжал думать о том, что

предстояло мне, если будет так, как он был уверен со мною будет, или если произойдёт то, что подсказывал мне внутренний голос. Я никогда бы не произнес вслух то, что этот голос шептал мне. Но тогда стояла такая тишина. Только шум машины. Все гости, сидящие в автобусе, молчали. И эту тишину он слушал, догадывался. Ещё немного, и он попросит, чтобы я разрешил голосу вслух сказать то, что он нашептывал мне. Он продолжал держать меня за руку, и взгляд его не угасал. В полутьме я видел, как он всё больше и больше всматривается в меня. Так мы и доехали. И больше в тот вечер не сказали ни слова. И сейчас, когда я вспоминаю этот путь, я чувствую его прикосновение, я вижу его заглядывающий прямо в душу мне взгляд. Я точно знаю, что он в этот момент думает, чувствует или запрещает себе чувствовать, знать. И я понимаю, что это живое ощущение ипостасной близости точно было мне приоткрыто тогда. И не только мне. Мы оба почувствовали одно. И это одно осталось с нами. Оно остаётся во мне. И оно есть его ответ на вопрос, который я ему вслух попытался задать. Такой дружбы, таких мгновений единства у меня не было ни с кем. И теперь, когда я один без него, далеко от тех мест и от урочища, я чувствую его присутствие. Ещё, ещё немного и заговорю с ним. А он до сих пор прислушивался к тому, что я говорил о нём и о себе. И всё ждал, когда я прямо, вновь, уже проницая эту прозрачную межипостасную границу, когда я вновь прямо обращусь к нему. Это был бы особый разговор. Каждый из нас остался верен себе. И мы сблизилась так, как только возможно и даже невозможно в нынешнем моём ипостасном бытии.

16 марта 2020

Вчера я вспомнил этот эпизод. А сегодня тревожась, боясь невольно совершить некую подмену, невольно впасть в ошибку, почему Юван так внимательно заглядывал мне в глаза? Не глядел, а заглядывал. Он чувствовал, что мои слова не совсем точны, что я хочу что-то очень важное сказать ему. Может быть, самое важное. Но слова другие, слова ведут за собою. И вот уже потеряно то, что так просится, так просится облечься в слова. Нельзя жить в чужой ипостаси, нельзя чувствовать её как своё существование, привыкать к ней.

Здесь опять христианская Троица, как мне думается, таит в себе ответ и приоткрывает тайну. Кажется, что Бог дух, Бог отец и Бог сын, составляя тождество, различаясь и взаимно переходя друг в друга и в самом деле должны как-то менять своё существование, оставаясь собой. Но сын не становится отцом, и Дух не становится ни отцом, ни сыном. Они соотносятся иначе. И вот я сегодня чувствую, и мне думается, что Юван тогда крепко, по-особому крепко держа меня за руку и заглядывая мне в глаза в полумраке автобуса, был близок к тому, чтобы понять то, что нужно было высказать словом. Но для него это было непросто. Он склонен был отрицать то, что Христос сохраняет прежнее своё значение. Ему казалось, что христианство духовно исчерпало себя и должно уступить новому учению. Это культ Торума, культ и его сына Мирсуснэхума – хранителя и содержателя мира. И что всё это воплощено в единстве, но в другом, не так, как приоткрывает себя христианская Троица.

Интересно, я никогда с ним не спорил о Христе, о христианстве, ибо моё верование совсем другое. Наоборот, мне кажется, что христианство не только не исчерпало свою духовную силу, она ещё по-настоящему не была понята даже самыми правоверными и православными. Вот почему возможны варианты, мутации религиозные. Их можно назвать ересями, если всё измерять канонической неизменностью религиозных понятий. Возникает даже версия о том, что русский Спас это не Христос. Да и с самим Христом столько связано вариаций и пониманий, что их невозможно исчислить, не то что пересказать. И всё это свидетельствует о том, что тайна Троицы не раскрыта до сих пор. Мережковский пытался в одной из поздних своих книг сказать о тайне трёх. Он таким образом думал и пробовал истолковать и Данте. И опять это была одна из мутаций, одно из заблуждений, одно из блужданий вокруг правды. А она, эта правда, очень ясно открывала себя людям. Три лица божества – Бог отец, Бог сын, Бог Дух Святой – принцип и прообраз всего бытийного и бытийно-небытийного единства мира. Каждое лицо живет в своём существовании, своей ипостаси. Но способно почувствовать все другие ипостаси как свою. Способно вполне принять, обжить её и вернуться к себе. Как ни странно это предположить, но Юван думал о чём-то близком этому. Ему думалось, что раз он существует, раз он пришёл в мир, – то ради совершенно нового слова, которое уже живёт в нём. Нужно только смело и точно его разгадать, и оно отменит всё

предшествующее. Сознание природы – вот подлинная правда. Всё то, что существует, себя сознает. И так и рождаются, и живут рядом друг с другом, друг в друге, и в противовес друг другу, ипостаси бытия и небытия. Юван чувствовал, что есть некая правда, которая вот ещё секунда – и озарит всю его душу.

И вместе с тем, я видел сквозь полумрак автобуса, что он не хочет поверить в то, что эта правда или эта истина, точнее, существует помимо его воли. И помимо того, что он выразит словом. Истина есть то, что будет провозглашено и утверждено сознанием природы, воплощенном в нём, в Юване. В его особом, действительно, в чём-то шаманском искусстве слова, в той особой манере, с которой он говорил, и в той любви, которую он проявлял к близкому ему существованию другого. То слово, которое родится сейчас, есть истина. И в этом смысле Троица по-своему замыкалась. Торум. Мирсуснэхум. Юван. Он не боялся признаться в своём веровании, никому не боялся признаться. На том особом литературно-шаманского языке, который он изобрёл, он немало уже написал к тому времени. И чувствовалось, что слова ещё не вполне точны, слова поправляют сами себя, ведут сами себя. И потому истина даже не в этих словах, а в нём самом, который вот-вот и породит новое, более точное слово. Так живёт не только Юван, так живёт не только Торум и Мирсуснэхум, как его понимал Юван. Так живет вся природа, всё существующее и всё то, что, казалось бы, перестает существовать и готовится к существованию. И вот он держал мою руку и пытался передать, перебросить мгновенно мне это знание, это чувство, это состояние. Я понимал его, и я принимал его ипостась в своей ипостаси и тут же отпускал его. Потому что, переходя ко мне, Юван не мог утратить себя. И он даже где-то заставлял себя быть мною. Ему нужна была некая сила, которая бы отпустила его из меня.

А я полагал в своей вере то, что полагаю сейчас, вот сейчас: истина ипостасна. Истина не может просто переселяться из одной ипостаси в другую, ибо она ипостасна по своей природе. И это именно то чувство, то переживание, которое нужно уметь не отпускать от себя. Почувствовать его правду, его присутствие в себе самом и не отпускать. Можно отпустить близкую тебе, но другую ипостась. А это отпускать нельзя. Это то, что существует, живёт до меня, будет жить после меня и потому живёт во мне. И с таким чувством можно принять вечность и тот самый оставленный за

спиной путь; эту, казалось бы, долгую-долгую насыпь, по которой было проложено шоссе, и спешил наш автобус, даже если она бы уходила в бесконечность того, что отходит и остаётся за плечами, за спиной, и в бесконечность того, что предстоит; я, не сомневаясь и не содрогаясь от невольного страха, принял бы. И потому, когда придёт конец моей ипостаси, я принял бы мой переход в другую ипостась. И при этом переходе я перестал бы чувствовать эту. Вероятно, многое сразу утратил бы, обреченный начать с самого младенческого, самого зародышевого младенческого, начала существования. Но радость жизни, радость того, что подарено природой, радость того, что оно подарено, – это и есть переход, в который я верую. И вот Юван, как мне кажется, в темноте автобуса спрашивал самого себя, возможен ли для него такой переход. И тут же сильным и властным движением шаманской воли он отводил от себя этот вопрос и ещё крепче сжимал мою руку.

17 марта 2020

Красноречивый сумасброд. Так Пушкин определил Жан-Жака Руссо. Казалось бы, в шуточной строфе «Онегина» и по почти бытовому поводу. «Грим смел ногти чистить перед ним, красноречивым сумасбродом». Но всё равно, определение серьёзное. Пушкин отличается точностью и остротой такого рода определений. И вот хочется спросить, неужели он прав? Нет, иначе. Неужели я всегда чувствовал, что он в сём случае совсем неправ. Во всех остальных определениях поразительно точна мысль поэта. Но в этом случае под сумасбродством понимался, видимо, этот особый дар парадокса, который характерен для Руссо. Он ведь писал свои тексты очень трудно, как сам признавался. Иногда по ночам очень долго-долго, не прикасаясь к бумаге и не беря в руки перо, он обдумывал одну, вторую фразу, абзац и поутру записывал. Или позднее записывал этот с огромным трудом давшийся ему текст. Чем-то даже это напоминало мне в отроческие годы, когда я читал Руссо с особой любовью и напряжением, такого рода работа мыслителя казалась мне чем-то схожей с тем, как Джон Милтон писал свой «Потерянный рай». Он ведь был слеп и ночью обдумывал несколько строчек, где-то 17 – 20, или около того, и потом продиктовал их. И таким образом сложилась удивительно цельная, могучая поэма, которую я тоже в те годы

читал и перечитывал, вглядываясь в гравюры Доре, и содрогался, когда представлял себе эту ночную работу поэта. Но Милтон есть Милтон. О нём особый разговор. Жалко, что я до сих пор по-настоящему не собрал свои мысли и свои воспоминания о том, как я погружался в поэму о грехопадении и восстании сатаны. Вернее, победе, временной победе сатаны, который грехопадением людей взял реванш после поражения от Бога. Поэма эта парадоксальна. Наверное, ему самому было не так просто объяснить, в чём потрясающая, особая сила образа сатаны – и притягательность этого образа, и красота его, и его обреченность. И вполне понятное человеческое в сатане: злобность и неспособность преодолеть вражескую силу добра. Это всё парадокс, но парадокс поэтический.

А у Жан-Жака Руссо парадокс был более широко применен. Есть общий источник парадоксальной мысли, вообще парадокса в мировой литературе – осознанной способности сказать нечто, противоречащее общепринятому и потому верное. Источник этот не Ветхий Завет. Там говорилось пророками то, что, в общем, люди не могли не признать как правду. Они знали о своей греховности. Они знали свою вину перед Яхве. Это была гремевшая, судная, предвещающая кару правда, пророчество, обличение и предсказание. По-настоящему подлинный парадокс характерен для Евангелия. Почти все речи Христа парадоксальны. Он осознавал это и прямо говорил: вы читали, а я говорю вам вот что. И говорил противоречащее, порой противоположное тому, что можно было прочесть в Ветхом Завете. Парадоксальность речей Христа заслуживает особого разговора, особого постижения. Она, может быть, никогда не будет постигнута, ибо она помечена печатью подлинно божественной причастности к высшей правде, к высшей истине. И связана с судьбою Иисуса, с его особым предназначением. Как слова Иисуса Христа, так и развязка его земной судьбы парадоксальны. Люди до сих пор не могут понять, почему именно так сложилась его жизнь. Почему именно так она разрешилась, таким концом. При том люди знают, что это Бог сын.

И до сих пор христианство во многом – религия парадокса. И те, кто хочет выпрямить парадоксы, всё изъяснить так, что из них исчезает эта несказанность и сверхлогичность, та особая сила истины, которая поверх логики, иногда вопреки ей, действует на человеческую душу, все эти попытки противоприродны Христу. И вот именно эту особенность гениально почувствовал Руссо и взял на себя. Он открыл способность парадокса

приближать истину до физической способности её осязать. Он сделал её своим жанром. Не в «Новой Элоизе» и далеко не всегда в «Исповеди». Но в «Эмиле». Я читал эту книгу внимательно-внимательно, ещё студентом, когда готовил свой диплом о Державине. Слева у меня был за этой этажеркой, на откидной парте этой этажерки, мой Державин, которого я писал с огромным напряжением и подъемом. Вот стараясь вложить в каждую фразу максимум образности, максимум эмоций, даже вопреки Державину. Где-то соревнуйся с ним. Вот справа лежал на этой парте листок, очередной листок диплома, дипломного сочинения, а слева, на шахматном столике, томик «Эмиля». И я вчитывался в эти пронумерованные абзацы текста. Только в этом произведении Руссо так нумеровал эти абзацы. И как будто соотнося их со стихами Нового Завета, с евангельскими стихами. Они, правда, немножко более объёмны, чем стихи Евангелия, но принцип тот же.

Именно в этом своём произведении Руссо осыпал мир таким богатством парадоксов, что его хватит не на одно существование человечества. Именно такая парадоксальность придает тексту особое звучание. Почти евангельское звучание. «Всё выходит совершенным из рук создателя, всё извращается в руках человека» и дальше, первый абзац первой главы «Эмиля», в более точном переводе. Но мне сейчас важен принцип. Принцип этот выражен уже в этом первом абзаце совершенно определенно. Парадокс прав, потому что всё извращено в руках человека. А вместе с тем всё, хочет сказать Руссо, всё не только совершенно, выходя из рук создателя, но всё абсолютно ясно человеку. Ему только нужно отодвинуть от себя этот его особый, сугубо логический способ мысли и принять парадокс как естественный язык истины. Парадокс – это, у Руссо, способность раздвинуть традиции человеческой мысли, не саму мысль, а традиции её построения, изложения и генетики. Как убеждает человеческая логика? «Вот это правда? – Правда.- Ты согласен? – Согласен. – Но тогда это тоже правда. Ты согласен? – Ну, приходится соглашаться. – Хорошо. А если так, то тогда это тоже правда. – Постой, нет. – Прости меня. Ты признал первое, признал второе, признавай и третье». Это способ убеждения, а не способ передачи правды, поднятой до осознания истины. Даже это не то, что можно назвать словом «правда». Правда – то, что связывает мысль с правом, с определенным правилом, если так условно можно ответить якобы этимологические сопоставления. Это некий закон.

А истина – благодать. И благодать парадоксальная, потому что она не укладывается в логику. А вместе с тем, она совершенно ясна. И как только парадоксально прямо высказана, мгновенно становится частью твоей души. И в этот момент ты равен тому, кто истину передаёт. Равен благовествователю. Тому, кто оповещает о благе. И вот не случайно я сейчас, размышляя, вспомнил об этом гениальном труде древнерусской письменности «О законе и благодати» Илариона. Недаром. По-настоящему то, что высказано там, не было понято, может быть, даже и самим автором. Но оно сказалось не случайно, ибо судьба России по-своему тоже парадоксальна. Это судьба христианская. Поэтому и восприятие, и извод, российский извод не языка Библии, а российский извод понимания истины, христианской истины, особый. И он требует изучения тоже. Нового и нового изучения без всяких попыток русофильства, без всяких попыток лжепатриотического истолкования веры. Так или иначе, тяготение к этому высокому божественному парадоксу жило и в нашей судьбе общей, многовековой, и в наших блужданиях, заблуждениях, преступных падениях нашей истории (она достаточно богата ими), и возвратами как бы к первоначальному осознанию правды и истины, которая над правдой. Это сказывалось почти всегда.

Поэтому тот, кто задерживается на чисто логических ходах и сюжетах нашей истории, рискует не понять, в чём особенность этой христианской истинности и правоты, которая сохранила Русь на протяжении многих веков. И если мы не отступим от неё, сохранит и впредь. И позднее, и в XVIII веке, и после Петра, несмотря на европеизацию. В частности, такое знакомство с Просвещением, с идеями Просвещения, уже на этом примере даёт понять о том, чем особенна наша духовная история. Теории разумного эгоизма, имеются в виду просветительские, 18 века, теории не были по-настоящему восприняты, как на Западе. На Западе они легли в основу цивилизации. Той цивилизации, которая после французской революции постепенно складывалась и сложилась. И сейчас радуется нас плодами европейского опыта. Мы воспринимали и принцип разумного эгоизма, разумеется. Но всё-таки рядом с этим жило то, что не было принято Западом – руссоизм. И не то, что собственно составляет некую логическую антиномическую систему, которой Лотман еще пытался измерить Жан-Жака Руссо. А именно самый принцип парадокса. То, что Пушкин назвал сумасбродством. И сейчас я

думаю, вот в эту секунду, в этом минуту, что пушкинское определение условно. И поэт как бы хочет в шутку предложить его, зная, что читатель, тот читатель, на которого Пушкина рассчитывал, не примет его всерьёз. Ибо дальше в той же строфе «Онегина» говорится, что Руссо был неправ только в том случае, когда был возмущен тем, что «грим смел чистить ногти перед ним». В сём случае совсем неправ. А в других случаях прав. Это заметила Лидия Михайловна Лотман. И попытка вот сквозь призму руссоисского парадоксализма заново перечесть Пушкина, мне кажется, это очень интересная для меня задача. Я попытаюсь ещё об этом подумать и в это погрузиться. Но такой фундаментальной работы, соотносящей Руссо и Пушкина, мне кажется, нет до сих пор. И не случайно, ибо связано это с тем, что тайна открытого, как распятие открытого всем людям и ясного божественного парадокса, не укладываемое в логику размышлений околохристианских и псевдохристианских, – это правда творчества Пушкина. Как и в русской литературе, где самой большой вершиной закономерно оказывается Толстой, такой же парадоксалист, как Руссо. Она может и должна быть почувствована, осознана. И если здесь логически не всё будет связано, то это окажется ещё одним доказательством не правоты, не собственно правоты, а истинности этого духовного проявления. Что ж, спасибо Жан-Жаку Руссо за то, что он сегодня мне приоткрыл.

18 марта 2020

На парадоксальной евангелической основе могла вырасти новая русская «Божественная комедия», совсем не похожая на ту, которую сотворил Данте. Парадокс как форма откровения. Как важно проследить у Пушкина это парадоксальное начало в героях, в решениях, в сочетании фантастики и реальности – во всём. Почувствовав свободу, ту, которая воплощена в стиле, в характере «Руслана и Людмилы», в этом смысле романтической поэмы, обжив проблемы байронической мировой скорби в южных поэмах и в «Цыганах», разумеется, Пушкин почувствовал необходимость вернуться к Руссо. Может быть, не вполне осознавая это. Такова была внутренняя логика, парадоксальная логика развития.

Удивительное и парадоксальное надо было проследить в реальности. Той обычной жизни, «энциклопедией» которой и явился «Онегин».

Сюжетный ход романа удивил самого Пушкина. Финал был не то что вынужден, пора было кончать роман, он был не ожидан для автора во многом. Судьба Татьяны неожиданна и парадоксальна. Татьяна – читательница Руссо, не только Ричардсона, но и Руссо. Она, казалось бы, была верна даже сюжетным линиям, почерпнутым из Руссо. Ну, скажем, из «Новой Элоизы». От этого романа пытались оттолкнуться и другие. Гете в «Вертере», Байрон в мировой скорби. Но у Пушкина судьба этой родственности с Руссо у главной героини, не у Онегина, а у главной героини романа, прослеживается самым парадоксальным способом. Она, эта родственность, проходит испытания реальностью. Сначала это деревня (О, Русь! – Руссо), а потом и торжественное, и победное, и внутренне трагическое торжество Татьяны. Она развязала роман, казалось бы, в соответствии с тем, как положено в сентиментальных романах. Начало которым дал Руссо. Она поступила так, как должна была поступить героиня сентиментального романа. И она была верна этим дорогим для неё книгам и хотела бы вернуться из роли законодательницы зал в деревню, к своим романам и к бедной няне своей, и к тем чувствам, которые тогда охватывали её. К тем чувствам к Онегину, которые должны были пройти это страшное испытание жизнью. Казалось бы, никакого парадокса нет. А, тем не менее, Пушкин был удивлён таким финалом.

Потому что он внутренне столь необъясним логически, что до сих пор идут споры. Они колеблются между версиями Белинского, который целиком погружает Татьяну и Онегина в контекст реальности, русской реальности. И несмотря на то, что это лучшие люди. Больше даже того, что это подлинно народное выражение человеческих судеб. Они – дети времени и несут в себе недостатки, свойственные времени. Это версия Белинского, известная. Ей противостоит версия Достоевского в Пушкинской речи, где Татьяна оказывается апофеозом русской женщины, верная не сентиментальным романам, а высокому христианскому нравственному принципу духовной гармонии. Вот по существу, Достоевскому легко было связать это с Руссо. Он так не сделал. Но на самом деле, это было именно так. И вот это в его истолковании присущее русскому человеку – близость к Христу – воплотилось в творчестве Достоевского.

Это и Макар Девушкин с его парадоксально, запредельно святой и, вместе с тем, по своему эгоистической любовью к Вареньке. Это князь

Мышкин с парадоксами его любви, рыцарь бедный. Это Алёша Карамазов с самым страшным испытанием, которое ему предстояло в ненаписанной части романа. Поцелуй Христа инквизитору парадоксален. И вообще вся почвенническая линия в литературе, идущая от Гоголя, проходящая развитие и настоящее осознание в творчестве Достоевского и воспринятая им и поднятая на недостижимую высоту Львом Толстым. Который прямо обратился к Руссо, к Христу, к Евангелию. Всё это несомненно. И несомненно и то, что Пушкин, почувствовав потребность поделиться своими замыслами с Гоголем, передал ему отчасти, завещал ему и тему «Мёртвых душ», и вообще всю духовную парадоксальность гоголевского восприятия Руси. Становится понятным, почему так логически несовместны реалистические картины, замечания и страницы «Мертвых душ» и «Русь тройка», и этот разговор автора с вперившей в него бездонный взор Родиной, которую он видит из прекрасного далёка. Прекрасное далеко это не Рим, это евангельская высота. Белинский не понял этого завета, пушкинского завета, который взял на себя Гоголь. Но русская литература, Достоевский, Толстой, в споре, в каких-то формах неосознания такой связи, выполнила пушкинский завет. И поэтому совершенно справедливо..... сказано о том, что именно в русской литературе явились эти трубные звуки и что другие писатели мира кажутся младенцами, играющими у ног гигантов – Толстого и Достоевского. Все это верно, как верна и руссоисская мотивировка нашего освободительного движения, гражданственности. Ибо парадокс Руссо распространялся не только на естественного человека, но и на гражданина, спартанца, который полностью растворяется в государстве. И добровольное жертвование собой ради всех, противопоставленное жертве, которое государство ради себя может принести, принеся в жертву отдельного человека, отдельную судьбу, вопреки его воле. Это всё одухотворяло русское освободительное движение.

Его нужно сейчас заново пересматривать, открывая в нём то великое ценное, что парадоксально роднит гражданственное и естественное в концепции Руссо. Сама эта концепция у Руссо пессимистически открыта. Несовместность гражданственного, подлинно гражданственного, и естественного была главной задачей, которую нужно было решить освободительному движению. Этим определяется масштаб событий XX века. И революция, и опыт Советского Союза, который, несмотря на страшные

отступления, противоречия, несмотря на ужас тех преступлений, которые были совершены именно потому, что здесь было отпадение от парадоксов Евангелия в руссоисском истолковании. Несмотря на весь ужас этого опыта, наш XX век был одной из величайших кульминаций мировой истории. Всё это заново надо пересматривать, и во всём этом видеть те связи, которые раньше не признавались. И в этом отношении фундаментальный труд «Руссо и Пушкин» разрастется в новую историю нашей отечественной литературы, где выяснится не только преемственность и родственность с Руссо, но и полемика с ним. Ибо наша литература начинала там, где кончал он, Жан-Жак Руссо, и пыталась почувствовать это, предвидеть это, всматриваясь в грядущую судьбу России. Все это серьёзно и всё это спасительно. Особенно в сегодняшней нашей эсхатологической ситуации. У нас есть большие заветы. Их генетическая связь и преемственность очевидны, совершенно очевидны. Когда это всё будет выявлено, и будет найден язык, на котором можно было бы сказать об этом, не укладывающимся в логику парадоксальном ипостасном единстве, когда всё это будет выявлено, никакого возврата к идеологическим догмам советского времени не будет. Но будет востребованное сегодня и завтра, особенно завтра, осознание преемственности с тем лучшим, что было нам завещано. Руссо не чувствовал, не успел по-настоящему почувствовать то, что антиномия естественного человека и гражданина-спартанца, в равной степени приемлемая для него, для Руссо, что они ипостасны. Что они не просто логически противостоят друг другу. Они своей несовместимостью, несовместностью утверждают ипостасный принцип их единства. Вот это очень важно понять. И этому я бы отдал годы жизни, если бы эти годы у меня были.

19 марта 2020

Один из примеров парадоксальности Пушкина, только один из примеров. Незъяснимость искусства логически, механически. Импровизатор в «Египетских ночах» не может Чарскому объяснить, как создаётся скульптура, как мысль воплощается гармоничными строками и рифмами. Тщетно он хотел бы это или пытался бы это изъяснить. Такой же пример, уже трагический, в «Моцарте и Сальери». Белинский говорил о том, что Сальери, как сознание, выше Моцарта. Но тот неизмеримо выше

неизъяснимостью своего гения. Здесь уже возникает противостояние неба и земли. Сальери готов отослать назад в небо гений Моцарта, ибо он не подымет искусство земного творца. «Как некий херувим, /Он несколько занёс нам песен райских, /Чтоб возмутив бескрылое желанье /В нас, чадах праха, после улететь. /Так улетай же!». У Достоевского парадоксальность особенно ярко создана в «Сне смешного человека». Там уже не противопоставление неба и земли, а противостояние возможного в человеческом опыте и того, что торжествует на практике в земном опыте. Смешной человек увидел сон. И в нём, в этом сне, ему открылась истина. И эта истина противостоит тому, что утописты – пытаюсь вывести из своих математических размышлений идеи, вышедшие из математической головы. Это не то, что увидел смешной человек. И он проповедует этот парадокс. Парадокс веры в то, что не может быть поверено и проверено логикой, разумом. Это признак подлинности. То, что не может быть изъяснено и рукотворно выстроено как модель. И при этом, даже зная точно, что никогда не осуществится то, что он проповедует, он всё равно будет проповедовать, потому что знает, что это могло бы устроиться быстро и сразу. Это полное и точное осознание парадокса и парадоксальности самого приближения к истине.

И в этом ряду Лев Толстой выглядит, кажется, совсем по-особому. Признавая то, что жизнь это сознание подлинной жизни, он потратил весь свой гений на то, чтобы выразить это несказанное, это парадоксальное. Формулами, предельно ясными логически, предельно отвечающими, как он полагал, самой природе познания или сознания. Такова его книга о евангелиях – «Соединение и перевод четырех евангелий». Таковы и многие его книги восьмидесятых – девятисотых годов, книги, статьи. И эта гениальная «Книга о жизни», вся построенная на измеримости парадокса, на логическом его, парадокса, изъяснении. Нужно было быть Толстым, чтобы не бояться при этом впасть в наивность, в примитив. Чтобы при этом не выглядеть тем, кто совершенно оторвался от человеческого опыта. «Мы пришли неизвестно откуда, мы уходим неизвестно куда. Но мы знаем, что мы всегда были и всегда будем». И принцип осуществления любви, приятия мира как формы сближения с Богом. Вот этот принцип уменьшения нелюбви и увеличения любви в человеческом «я», в его самосознании, и есть смысл жизни. Он парадоксален, но он совершенно логичен. И, казалось бы,

Толстому это удавалось или, напротив, не удавалось. И другие, весьма мудрые и утонченные философы, упрекали в недостаточности парадокса. Фридрих Ницше был куда более парадоксален, получается. А Толстой отвергал этого философа именно потому, что тот впадал в явную, пустую парадоксальность. Так истолкованы Толстым некоторые страницы «Заратустры». Толстой выглядел более философом разума и логики, чем парадоксалистом.

Но ведь и о Руссо писали, как о проповеднике, который поражал совершенством и мощью, и убедительностью, логикой своих аргументов. И одновременно непререкаемостью своей догматики. И одно с другим составляло особое парадоксальное единство и было выражением той великой правды, той человечности самосознания, которой Руссо одарил мир. Толстой шел этим же путём. И несмотря на все упреки, которые можно ему предъявить, не сбивался с него. И всё же это один из парадоксов Толстого. Уже создав роман «Воскресенье», роман великий, полностью построенный на христианском парадоксе. «Мы живы не потому, что настроили тюрем, не потому что создали государство, а потому что мы любим друг друга». Парадокс воскресения Нехлюдова, прошедшего все круги, все сюжеты российской государственности, все технологии социальные зла, отступления от Евангелия. Толстой, вот всё это создавший, творит своё последнее художественное произведение, может быть, художественно совершенно особое и в каком-то отношении лучшее из всего, что он создал – притчу «Хаджи-Мурат». И в этой притче скрыт совершенно иначе и уже никак не объяснен логически парадокс христианского бытия. Бытия человека, который не был христианином, не исповедовал Христа, но умер столь же парадоксально, как Христос. Может быть, не столь же парадоксально, поскольку его смерть означала отрицание зла в большей степени, чем утверждение истины. Но само такое отрицание было истинным, и потому Толстой под конец жизни воспел его – с таким потрясающим чувством благоговения и восторга перед величием человека, что становится совершенно ясно, почему именно «Хаджи-Мурат» завершает творчество художника Толстого и становится завещанием всей последующей литературе.

И порождает эту родственную преемственность в гениальном «Тихом Доне» Шолохова и в неудачном, видимо, или не вполне удачном, в

прозаической своей части, романе «Доктор Живаго», но зато гениальном цикле стихов Юрия Живаго, увенчивающих этот роман. Хаджи-Мурат прошёл все степени отрицания, казалось бы. Он был и в том и в другом стане, как и Григорий Мелехов. И там и там он испытал, познал и отверг зло. И умер он на грани между этими мирами. Умер, не принеся, как Христос, истины, любви ко всем, но провозгласив как величайшую истину отрицание нелюбви людей друг к другу – и в том, и в другом стане. Такая же участь выпала и Мелехову Григорию, поставив его, как главного героя романа, надо всеми. И заслуженно. Сосредоточив на себе всё внимание повествователя, всё его сострадательно любовное отношение к своему главному герою, которое передается читателю. И вот уже в стихах Юрия Живаго судьба главного героя, подобная судьбе Хаджи-Мурата и Мелехова, увенчана осознанным приятием Христа в евангельском цикле стихов.

Но меня сейчас интересует больше всего именно Лев Толстой. Парадокс которого заключался в том, что он, который так самоотверженно попытался на языке предельной ясности и логики, и психологической правды приблизить Христа к людям, сократить ту дистанцию сакральную, которая существует и существовала до Толстого, между Христом и людьми, он не привнес это знание в момент смерти Хаджи-Мурата. Он, написавший «Воскресенье», не сделал притчу о Хаджи-Мурате евангелием. Он поставил то отрицание зла, которое воспето в этой гениальной притче, выше проповеди Христа. Или во всяком случае сделав её равноценной. Он написал эту притчу так, что ясно: не знавший Христа Хаджи-Мурат был бы принят Христом, полюблен им в его смерти. И смерть героя здесь оказывается в глубочайшем, глубинном родстве с Голгофой. Так отринуть зло, как это, судьбой своей, совершил Хаджи-Мурат, может только тот, кто будет принят и признан Бого-человеком, совершившим подвиг на Голгофе. Но только подвиг Хаджи-Мурата, казалось бы, не осознается людьми как проповедь, спасительная для человечества. И однако, необычайная красота этой притчи, красота истины, воплощенной в ней, совершенно неожиданно утверждается и подтверждается тем, что её принял Лев Толстой. Который достаточно сказал миру о Христе, о том, как он понимал в подлинном смысле его явление в мире. Он достаточно проповедовал. И даже роман «Воскресенье» сделал своего рода проповедью. И вот теперь, совершив всё это, он так понял, так увидел, так полюбил и так воспел своего последнего героя. Уже с

первых страниц повести, где возникает символ судьбы Хаджи-Мурата, этот репейник, который не дается, чтобы его сорвали и вставили в общий букет цветов, уже здесь есть главная, потрясающая и пронзающая душу мысль: репейник этот был хорош на своём месте, на своём стебле. Именно это место и делает судьбу Хаджи-Мурата столь прекрасной. Он прекрасен в смерти. В парадоксальном отрицании зла и в парадоксальном провозглашении правды жизни. Той правды, которая увенчана таким концом. И находит в нем, в этом конце, в этой смерти высшее своё проявление. То, что принял это Лев Толстой, и стало его, Толстого, завещанием всем нам и в жизни, и в литературе.

20 марта 2020

Ещё два слова вдогон вчерашнему. Нагорная проповедь, как её понимал Лев Толстой, это откровение о том, как можно, даже ценой своей жизни, противостоять самому общепринятому, но несущему в себе отклонение от истины, содержащему в себе подмену её. В Нагорной проповеди таким общепринятым и освященным веками и даже Божьим словом оказывается закон Моисея. При этом Христос не противостоит самому закону. Он говорит о том, как его исполнить. А чтобы исполнить его, нужны новые заповеди, те, которые он предлагает, и те, которые нельзя понимать буквально. Их нужно понимать ипостасно. Это именно несогласие с общепринятым, если в этом общепринятом есть отклонение от истины. И вот именно такой смертью, за такое отступление от этой общепринятой догматически, канонически, а не ипостасно понятой заповеди, именно той смертью, где восстанавливалась изначально, может быть, даже недосказанное в прежних принятых всеми заповедях правда.

Вот о такой правде. Откровение о ней есть высший подвиг, даже если в нём будет отступление от этих новых заповедей, отступление от буквального канонического их понимания. Вот смерть за такую правду. К сожалению, в мире общепринятых канонических законов такая смерть порою неизбежна для того, кто не канонически, а ипостасно следует Нагорной проповеди. Так вот эта смерть самое прекрасное, что может быть в человеческом опыте. Её нельзя потребовать, её нельзя предписать кому-то. Её, такую смерть, можно пережить по доброй воле, на пределе проявления свободы. И она есть

высшее, что только может быть в духовном и героическом опыте человека. Такой именно смертью умер Хаджи-Мурат. Хотя в его подвиге, в том, как он не отдавал свою жизнь, а боролся за своё право быть собою, всем существом своим отстаивал это своё человеческое право, вот в этом подвиге была ипостасная близость с Голгофой. Об этом, по-моему, не писали специалисты по Толстому. Наоборот, они говорили, что вот в «Хаджи-Мурате» Толстой не выдержал своей самоизоляции от искусства, вернулся к искусству, как умолял его об этом Тургенев почти в предсмертном своём письме, обращенном к нему. И потому сам запретил себе, создав такой шедевр, напечатать его. Он не был напечатан при жизни Толстого. Так пишут специалисты, историки литературы. Мне думается, что весь ход рассуждений, вся вот эта уже полугодовая правда медитаций человека, который теряет зрение и прощается с миром вот такими обращениями к самому себе, вот таким разговором с самим собой, что вот эта правда даёт мне право на столь нетрадиционное сопоставление Голгофы и смерти Хаджи-Мурата. Как завещание самого Толстого.

После этого понятно его решение уйти из дому. Конечно, он не предполагал, что умрет по пути, и не думал умирать. Но мне кажется, где-то в самой глубине своего человеческого сознания жизни он предполагал возможность такого конца. Этот уход из дома и эта смерть Льва Толстого, если не были предназначены для ипостасного сравнения с Голгофой и смертью Хаджи-Мурата, но на самом деле были достойны, оказались достойны такого сопоставления. Здесь нет канонического, буквального соблюдения принципов Нагорной проповеди. Но здесь есть самая глубинная, самая существенная внутренняя духовная родственность такого исхода для Толстого, Хаджи-Мурата и Христа, понятого так, как его понимал Лев Толстой. С этим его пониманием можно не соглашаться, но нужно понять, как оно возникло, и какова его внутренняя, трепетно обращенная к людям сущность. А почему Толстой не опубликовал «Хаджи-Мурата» это совсем другой вопрос. Он не мог не чувствовать, что создал небывалый даже для себя шедевр. Но он слишком противоречил тому учению, которое Толстой так многократно излагал в своих статьях и книгах, посвященных подлинному христианству. Но противоречие это было внешним. И поэтому отказ печатать «Хаджи-Мурата» не содержал в себе отрицания и осуждения этой притчи. Наоборот, она окружена тем особым молчанием Льва Толстого, которое

несло в себе правду и истинность ещё не сказанного слова. Не сказанного потому, что оно несказанно парадоксально. Ведь в самом деле, столь глубокое, если оно было в самом деле, толстовское понимание его, Толстого, учения могло помочь людям понять, почему такие высокие героические судьбы людей, добровольно отдававших свою жизнь ради всех, таким образом добывавших жизнь не для себя, а для всех, почему они по-настоящему если не тождественны, то ипостасно близки друг другу, родственны. И если, поднявшись на такую высоту в том случае, если только всё сказанное сейчас правда, оглянуться на мировую историю и на историю каждого из народов, станет понятно, насколько богаче живет в душе человека, в душе людей, в душе народов сознание человечества – та спасительная для всех правда бытия, которую Толстой пытался выразить своей жизнью и смертью. Но это станет возможно, как мне думается, только после того, как по-настоящему широко, не догматически, не канонически мертвенно, не логически парадоксально, а парадоксально в самом высшем евангельском смысле этого слова будет понят и принят, и применен к жизни принцип ипостасности.

21 марта 2020

Много из того, что составляет самую сокровенную тайну, очевидно. И нужно в себе самом найти, почувствовать способность прямо, на том же самом языке, на каком очевидное говорит с нами, принять сказанное. Когда-то, было мне лет 11, вот так, я сочинил очень плохие, формально, строчки, где, как оказывается, пытался передать эту мысль. «Когда отбросим наши ухищрения /Сцепленьем истин тайну обнажить, /Отбросим формул пышное строение, /Порвем идей искусственную нить, /Тогда природа близкая, живая /Бездонный взгляд соединит с твоим. /И ты любые тайны прозреваешь, /Приблизиться ещё не в силах к ним». Сцеплением истин тайны разрешить. Оказывается, истина в том случае, если она произведение человеческого сознания, а это так и есть, тоже есть нечто искусственное, то, что нужно уметь преодолевать, снимать и почти обходиться без перевода с одного языка на другой. С языка тайн на язык очевидного. Любопытно, как бы неточно, несовершенно, плохо ни было выражено это чувство, эта мысль, это сознание, это сверхсознание в детстве, оно, видимо, несет в себе какую-то,

трудно найти слово, новую тайну или очевидное разрешение всё той же, единственной. Разрешение которой и составляет содержание жизни. Ты жив, пока разрешаешь её, пока со всей очевидностью видишь её разрешимость. Ты «отбросишь формул пышное строение, /Порвешь идей искусственную нить». Я чувствую, что из таких мгновений очевидности состоит счастье прожитой жизни. Счастье каких-то озарений, когда вдруг неожиданный поворот сюжета, воображаемого тобою, приносит обновление души и исчезающее в слове блаженство восприятия. Да, блаженство. Которое вот дано со всей очевидностью и исчезает в слове.

Вчера дочитывал рассказ «Преемник», написанный три года тому назад и забытый, совершенно забытый мною. И удивлялся тому, насколько это всё забыто. И насколько неожиданны были эти озарения, когда сюжет тут же складывался, тут же, в эту секунду, рождался. Тогда я не вспоминал, а именно рождал совершенно неизвестный для меня, в полном смысле этого слова таинственный, исполненный тайны, сюжет. И вот вчера этот текст, на компьютере, с большим трудом читаемый мною сейчас, все-таки я не разобрал до конца. Вот сегодня предстоит раскрыть эту тайну и понять, почему я забыл весь придуманный фантастический сюжет. Забыл для того, чтобы или потому, что он может предстать как тайна, не разрешённая до сих пор и со всей очевидностью разрешимая, когда дочитаешь текст. Рассказ написан плохо. Я с тревогой чувствую, что доделать этот рассказ очень даже возможно. Но может быть, не хватит моих сил. Если я так трудно читаю даже уже готовое написанное. Просить кого-то, кто мог бы мне это прочитать вслух, не хочу. Это дело моё. Сугубая интимность такого всматривания в свою собственную тайну должна быть неприкосновенна. Только я сам. А сил может не хватить. Тем не менее, то, что сегодня предстоит дочитать и, быть может, возобновить то состояние, в котором я решил когда-то кончить этот рассказ, радует душу. Но говорит о возможности так освободить себя от себя самого, от того, что ты продумал, выстроил, логические соткал из того, что ты сам назвал истинами для себя. Освободить себя от этого для того, чтобы соединить свой взгляд с бездонным взглядом – не природы только, а с твоим собственным бездонным взглядом. С этой возможностью обойтись без языка, и без языка перевода. Ты ещё не приблизишься к этим, к этому разрешению этих тайн, но ты как будто прозреваешь.

Кстати, у меня была строчка несколько иная: «И ты как будто тайны прозреваешь, /Приблизиться ещё не в силах к ним». Здесь есть такое сочетание звуков, которое я не могу допустить для себя сегодня. Но эта прежняя строчка точнее «И ты любые тайны прозреваешь, /Приблизиться ещё не в силах к ним». Как будто прозреваешь. Ну что ж, попробуем. Дело в том, что в рассказе «Преемник» главный герой дал название рассказу. Он принял от своего учителя целую философию, причём, свою. Они вместе с учителем написали целый учебник по этой философии. И она касается как раз самых сокровенных глубин, касается тех самых тайн, над которыми и призвана биться человеческая мысль. И вот он пытается освободиться от этой философии. Отдает её назад своему учителю. И остаётся один на один с загадочной, нелепой, абсурдной реальностью современного мира, современной жизни. Помимо того, что он пишет и должен довести до печати свою философию, которую отдал, пусть временно, но отдал учителю. Он занимается шиномонтажем. Надо же как-то жить, надо же как-то отзываться на реальности нашей современности. И кроме того, он переживает трагедию, быть может, составляющую главную тайну – жена ушла от него. Ушла и родила, должна была родить. Почему-то он точно знает: родила дочку. Но он даже не знает имени своего ребёнка. И вот он приходит к себе домой, совершенно освобождённый, казалось бы, от философии, разрушившей «формулу пышное строение», порвавшей «идеи искусственную нить».

Там, в той точке шиномонтажа, где у него, под его началом трудится еще несколько человек, среди них и доктор наук, один, и другой философ. Они занимаются бизнесом вместе с ним. Но там, в этой точке есть комната размышлений. В этой комнате они спорят, беседуют, отдыхают. А бизнес идёт как бы сам собою. Чем меньше о нём думаешь, тем успешнее он идёт. И вот преемник возвращается не в эту точку, где есть комната размышлений, а к себе домой. И там с ним происходят странные вещи.

Чтобы дойти до дома, ему предстоит преодолеть какую-то страшную, почти смертельную слабость. С ним почти обморок случается по дороге. Он, еле-еле справляясь с собою, приходит к себе домой, где не был уже несколько лет. И видит – комната прибрана. На той стороне Большого проспекта, куда выходит его окно, даже окна его дома, его квартиры, горит окно. Оно далеко. Но то, что оно горит, как-то связано с его судьбой. Но вот сегодня станет мне понятно, что это за окно. Но и в этой своей пустой, хотя и

прибранной квартире, где только его постель осталась смятой и незаправленной, он видит свою дочку. Она сидит за его столом, рисует, говорит с ним. Он даже не знает, как её назвать, как её имя. И вот-вот, кажется, вновь случится с ним обморок. Но он приходит в себя. В комнате никого нет. Стол его пуст. И вот сейчас что-то должно совершиться. Я, при всём желании вспомнить, как же это разрешилось, не могу, ничего не могу вспомнить. И сегодня буду дочитывать, как если бы я дописывал этот рассказ. Вот именно так я буду его дочитывать. И удивительно. Происходит со мною то, о чем я когда-то написал в этих двух четверостишиях. Я освободился от себя самого. Того, что сам придумал, сам создал, сам вообразил. Больше того, сам пережил и узнал. Освободился от всего груза сознания – как соединения знаний своих и чужих, своих и усвоенных. Освободился и вот могу всмотреться в себя самого, ещё не в силах приблизиться к себе. Рассказ не дочитан. Но именно в эту минуту, в ту минуту, которую я переживаю сейчас, в эту секунду, я прозреваю себя самого, оказываясь преемником самого себя. И все это разрешится сегодня, когда я буду дочитывать. Конечно, я всё вспомню. И всё, от чего я освободился, восстановится. Но не забудется это мгновение свободы и какой-то совсем особой возможности соединить свой взгляд, свой взор, с ответным взором своей главной тайны. Соединить взор и как будто прозреть эту тайну и самого себя.

23 марта 2020

После пандемии коронавируса, той эпидемии, которая сейчас охватывает мир, мир этот станет более социалистическим, если не коммунистическим. Так уже поговаривают во время дебатов по телевидению на эту нынешнюю самую острую тему. Есть не совсем шуточное предположение, что мы с Наташей тоже переболели этим коронавирусом, переболели и вылечились. Не известно, даёт ли иммунитет такая болезнь, или она может вернуться. Но пока мы, вроде, в некоем счастливом выигрышном положении. Так это или не так, но, скорее всего, есть смысл в том, чтобы предполагать такое. Смысл нравственный, ибо то, как сейчас это подается и обсуждается, свидетельство того, что появилась некая общая для всей планеты, может быть, страшная опасность, которую нужно совместно

человечеству и преодолевать. И вот возникает вопрос о том, не потому ли Китай, куда был заброшен этот вирус из Америки, не потому ли он справился с эпидемией и теперь помогает уже другим странам. И нашёл лекарство от этого вируса. Что Китай потому так и побеждает беду, что вот он коммунистический, что там есть, несмотря на чудовищные сюжеты мировой революции, культурной революции китайской, они, в общем, китайцы, остаются верны своему коммунистическому, объединяющему всех, верованию. И вот это пример всем остальным странам. Приглашение к тому, чтобы они, по меньшей мере, были бы верны тому лучшему, что есть в их духовном историческом опыте, а может быть, и последовали бы за Китаем.

Думается, что здесь затронута серьёзная проблема возможного, доступного человеку, будущего. И не надо быть смешным человеком, чтобы утверждать такое. Важен пример и желание последовать этому примеру. А вообще так, как эта тема обсуждалась в моём учительском опыте, просто роскошно, с конца пятидесятих годов, в шестидесятые во всяком случае. Сколько было уроков литературы, посвященных таким обсуждениям. Сколько было высказано самыми умными ленинградскими девятиклассниками и десятиклассниками в математической школе, где я преподавал. Сколько умного было высказано по этим темам. Искренно, серьёзно и по-детски чисто. Я всё это помню. И тогда было ясно, что идея такого будущего – лучшая из идей. Царство Божие на Земле, даже если оно и без Бога. Но оно воплощение того, что мог бы пожелать и верующий; тот, кому не просто жаль расстаться с земным своим бытием, а тот, чья вера открывает необходимость и смысл соединения неба и земли в человеческом опыте будущего.

Невольно мысли эти приходят после того, как я дочитал-таки свой рассказ о преемнике. Ясно, что он не сделан. Ясно, что он может быть сделан хорошо. Ясно и то, что может не хватить сил это сделать. Равно как ясно и то, что это и есть моя ненаписанная повесть. Если только её написать. Но впечатление от этого, не осуществленного ещё по-настоящему рассказа, впечатление от того, как он разрешил ожидающие решения проблемы, которые возникают по мере чтения, вот – что этот рассказ произвел очень сильное на меня впечатление. Хотя я вижу его не то что недостатки, а то, что он написан, может быть, совсем не так, как нужно и можно. И я сразу же стал перечитывать. И вчера даже не прикасался к диктофону, потому что была

потребность вновь, с трудом, по немногу страниц в день, но перечитать эту недописанную повесть. Сегодня рано говорить об этом. Надо всё-таки перечитать. А потом будет третий раз. И третий раз нужно уже доделывать, переделывать по ходу чтения. Это будет самое трудное и нужное. Сейчас, по крайней мере, пронзил меня острый вопрос, связанный с этой повестью. Там главному герою уделено очень много из моей жизни. Кажется, что это я. Ну и Наташа есть. Наташа.

На самом деле, это совсем не так. И это надо как-то выразить в тексте. Ну, вот один из героев, не преемник, а тот, от кого преемник получит своё предназначение. Он уже старец. Ему за 80 лет, или ровно 80. Он принял решение прервать свою работу, оставив её в том виде, в каком она уже осуществилась в его жизни. А это равносильно уходу из земного бытия или, вернее, уходу из данного ипостасного бытия. В другое, тоже ипостасное, и тоже, вполне возможно, вполне земное. Но преемник, который отказывается от той миссии, которая ему предназначена учителем, принимает не только самый труд (а уже написан учебник, уже есть гранки этого учебника), но и постигает эту готовность к другой ипостаси. А от него ушла жена, он не знает, как зовут даже его родившуюся дочку, жена эта скрывает от него. И то, как она ему в полубреду является, дочка, то, как она сидит за его столом и рисует, и разговаривает с ним, вполне ясно говорит преемнику, что не может уйти или перейти в какую-то другую ипостась.

Там есть глава, посвященная тому, как оба – и учитель, и преемник-ученик – входят в Андреевский собор. Откуда только что вышла его дочка со своей мамой. Он узнал её. Такая, какой он её видел накануне ночью в бреду, она именно такая и выходит из церкви. Обращает на него внимание, хотя видит его в первый раз. Но мать спешит увести её. И вот он чувствует, что уйти в другую ипостась не может. Именно эта ипостась и есть ценность ценностей, смысл смыслов, тайна тайн. А учитель пришел утром к тому же храму и вошёл в него, потому что помнит, как туда вошёл его погибший сын. И он ждёт невозможного – того, что сын оттуда, уже не из церкви, а оттуда – выйдет на порог храма. И опять совершенно ясно становится, что тайной тайн, смыслом смыслов бытия оказывается именно эта ипостась. Некому сдавать свои дела. И нет того, кто будет преемником. Вот это перечитывание и эта пронзившая меня мысль подводит к вопросу: а не перечеркивает ли этот рассказ все то, что я полгода надиктовывал по утрам? Наверно, в этом

внутренний, глубинный смысл доработки, доделывания этой недописанной повести, её дописывание. Пока ответа я не знаю. Во всяком случае, когда я стал перечитывать, первая глава, как ни странно, мне понравилась. Дело ведь происходит во время праздника победы над Германией в Великой Отечественной войне. Сюда вплетается память о блокаде. И к герою даже приходит давно умершая мать. Но она не входит в комнату, где он пытается собрать свои мысли из самого себя, а тихо проходит в соседнюю комнату. И он чувствует её присутствие. Вот теперь будет продолжение перечитывания, где буквально каждая деталь, каждая фраза заново должна отстоять своё право на жизнь в тексте. И вот такое вновь погружение, такое ипостасное вновь рождение себя самого, в самом сюжете повести, – не выдуманного, а подсказанного чьим-то голосом или моим внутренним, вот оно решит вопрос о ненаписанной повести, об этом рассказе и обо мне самом.

28 марта 2020

Заново дважды перечитал моего «Преемника». Нет, он не перечеркивает сказанное и продуманное. Но тут есть одна серьёзная проблема. И, конечно, признавая то, что она есть, надо корректировать свою мысль, соотнося её с жизнью, с объектом в самом широком и глубинном смысле этого слова. Дело в том, что та или иная идея религиозная может так или иначе утешать. А утешая, отдалять от той реальной жизни, в которой человек верующий живёт. И конкретно. Она может привести к тому, что верующий начнёт не так, как положено от природы, недооценивать или оценивать свою жизнь. Идея подчиняет самое понятие человеческой жизни чему-то более высокому, вечному. И потому атеисты, которые знают, что выше человеческой жизни нет ничего – кроме того, что сам человек ставит выше своей жизни, добровольно отдавая себя, чтобы защитить то, что он считает более высоким, чем его личная жизнь. Есть, конечно, и в некоторых конфессиях, в некоторых религиозных традициях страшные знания, которые избавляли от недооценки жизни. Реальной, твоей человеческой жизни. Я уже не говорю о «Гильгамеше», об аккадской поэме, где всё равно сами боги, несмотря на то, что они давали, дали бессмертие Утнапиштиму, определили для человека как высшую ценность его труд, его жизнь. Жизнь и труд, который заменяет бессмертие. Можно сказать о ветхозаветной

традиции, версии, где Господь, мы говорим только о «Ветхом Завете», не обещает загробного благодного воздаяния. Именно этим вызвана гениальная новелла из «Агады» о смерти Моисея. О том, как он молил Господа продлить его жизнь. А Господь всё-таки этого не сделал, хотя и любил Моисея больше других. Мужественная и страшная религия, требующая от народа бескорыстной любви к Богу. Любви, не предполагающей, что за неё будет загробное воздаяние. Можно в античной, мудрой, весьма мудрой и недооценённой в этом отношении, как мне думается, мифологии античности (речь идет о греческой мифологии) – страшная, отнюдь не благая весть об Аиде, которого боятся и в царство которого не хотят попасть гомеровские герои. И вообще все герои в мифологических сюжетах древнегреческого искусства. Культ жизни, земной жизни предполагает всегда противопоставление земной гармоничной телесной красоты миру теней. Ну, можно так перечислять, можно называть и другие религии.

Но вот если обратиться к версии ипостасной веры, веры в ипостасность всего сущего и даже того, что не существует. Может быть, эта вера, предполагающая в будущем, в разных, трудно представимых формах, воплощение человеческих желаний, причём, всех желаний, может быть, она недооценивает тоже человеческую жизнь? Но уже иначе? Обещая ипастасное пресуществление, она открывает перед человеком возможность. Нет, это не только возможность, речь не идёт о необходимости. Возможность расстаться с этой твоей нынешней ипостасью ради иной. Ради инобытия в ином ипастасном существовании. Особенно, когда эта ипастасная форма уже болеет, уже не во всём повинуется человеческой воле и просит замены. Но это не переселение душ, а именно ипастасное пресуществление. Так вот, может быть, эта благодная вера в ипастасное пресуществление делает менее ценной человеческую жизнь в его сознании. И не дай Бог, поведет еще к каким-то экспериментам. Когда тот, кто истинно верует в абсолютную ипастасность, попробует уйти, с тем чтобы вернуться в другом ипастасном бытии. Если это так, то тогда подобная версия, подобная религия просто опасна.

И в рассказе «Преемник» со всем ужасом, как мне представляется, рассказано о такой опасности. Там Преемник, которому всего 24 года, догадывается о том, что его философия действия будет доказана, если он

уйдет и вернется в другой ипостаси. Он может это попробовать и близок к этому. И, казалось бы, сама природа его к этому готовит. Его физическое состояние, обморок, который он переживает, эта бессонная ночь в опустелой брошенной квартире, куда он проходит – все эти вот переживания отвергнуты. Он видит то ли во сне, то ли в каком-то особом необъяснимом ипостасном осуществлении свою незнакомую ему дочку, трехлетнюю дочку, которая сидит за его столом, рисует и разговаривает с ним. Именно она удерживает его от эксперимента. Можно догадаться, что жена ушла от героя именно потому, что она почувствовала такую опасность. И вот получилось так, что он даже не знает, родилась дочка или нет. И как ее назвала мама. И когда он видит девочку, сидящую за его столом и рисующую, слышит ее голос и не знает, каким именем ее позвать, он переживает запредельно мучительное мгновение. Мгновение, когда осознается момент засыпания. И это возвращает его от эксперимента к реальности. И тогда он по-настоящему становится Преемником учителя. Тем, кому ещё предстоит целая жизнь. И вся эта многообразная, казалось бы, уже почти отвергнутая им жизнь, становится одной из высших ценностей. Вот Садко Алексея Константиновича Толстого говорит о жизни и о земле, очутившись на дне морском: «Бывало не всё там наровилось мне, / Не по сердцу было иное. / С тех пор же, как я очутился на дне, / Мне всё стало мило земное». И следующие строчки.

Ипостасность это реальность бытия. И от неё никуда не уйдёшь. От нее невозможно уйти, чтобы преемственно проникнуть в её тайны. Даже если эти тайны связаны с глубокой, унижительной для человека прозой современного «социального» бытия. Шиномонтаж, бизнес. Всё так. Сквозь всё это нужно уметь видеть ипостасную ценность сущего. И, кроме того, осуществление всех желаний, которое выражается в некоем одном желании. Для него выразилось в одном – любовь к незнакомой дочке, о которой он даже не знает, есть она, живёт она или нет. Правда, он видит её на следующее утро выходящей вместе с мамой из храма, из церкви. И рядом с ними его учитель, который когда-то видел, как в этот храм вошёл его погибший позднее сын. И он, понимая невозможность того, чего он желает, по утрам приходит и ждёт, когда сын выйдет из храма, куда он вошёл. Ну, я не буду пересказывать подробности этого рассказа. Но во всяком случае, именно ипостасная природа бытия, именно универсальность бытийной и даже небытийной в соотношении с бытием ипостасности, именно это

возвращает к жизни, именно это воплощает невоплотимое, проясняет неясное, делает осуществленным неосуществимое. Но в рассказе, по-моему, приоткрыта ужасная опасность – отступления от ипостасности. При внешнем сохранении её тайн, её логики, её нелогичной или алогичной и парадоксальной целостности. Не стоит, полагая, что ипостасная вера будет доказана, когда ты вернёшься в ином ипостасном проявлении, осуществлении оттуда – что это уход от жизни. Наоборот, это форма прихода к реальности. Но тот, кто ложно понимает не только самый несказанный Божественный принцип ипостасной целостности, но кто ложно понимает и себя самого, мир своих желаний, особенно тот, кто подчиняет идее ценность земной человеческой жизни, тот может впасть в заблуждение. И в заблуждение страшное. В рассказе очень слабо, разумеется, его надо доделывать и переделывать, но всё же сказано об этой опасности. И вместе с тем, никакой благостной гарантии читателю там нет. Он, сопережив с героем, если только есть с чем сопереживать, его состояние, вот его этот почти уход, который передан физически ощутимо (должен быть передан, не знаю, как получилось), пережив это, он только сам может решить, в чём его правда. В чём его верующая правда. И правда его веры. И та опасность, которую любая идея, подчиняющая себе человеческую жизнь и поставленная выше жизни, может быть преодолена и по-настоящему опровергнута именно ипостасной верой. Но она дается непросто. Она дается в тех фантастически мучительных состояниях, ценой таких невыносимых переживаний, которые еще надо уметь описать. Ну что ж, попытаюсь ещё и ещё раз вернуться к этому рассказу с тем, чтобы по возможности довести его до нужной степени жизненной правды. Перед тем, как отдать его для чтения и сопереживания другим, ипостасно близким или ипостасно далеким мне, от меня людям.

... Гете записал в своей этой философической поэме в прозе «Природа». Он записал: природа всегда в пути и всегда у цели. Разумеется, это всё применимо к понятию ипостасности. Ипостасность позволяет мгновенно сокращать путь от незнания к полному знанию. И такое сокращение дает вера. Ипостасность открывает трудный, мучительно трудный, требующий проверки и перепроверки, путь научного знания, которое всегда где-то в начале и которому далеко до конца. Ипостасность открывает самую свою природу художнику, который творит нечто совершенно конкретное, проявленное, осуществленное, овеществленное как

момент движения и как предчувствие, предсказание о конце пути и как воспоминание о тех лучших мгновениях на этом пути. Ради которых хочется жить и, если нужно, умирать. Вот это всё несёт в себе принцип ипостасности. И поэтому очень важно знать, что ипостасность тогда верна своей природе, когда она не ущемляет своей цельности, не разрывает своих ипостасных связей. Вера даёт мгновенные ориентиры знаний, но нельзя вырывать ее из единого целого. Тогда оно теряет всякий смысл. Оно есть момент этого единого сложнейшего процесса. И поэтому оно, это ипостасное начало, требует проверки, испытания, опыта. Оно взыскует образа. А образ возвращает к началу и избавляет от заблуждения, по которому ты готов сократить путь от начала к возможному финалу. Сокращай его, но сокращай его своим верующим чувством. И не сокращай его путём научного знания. И уж совсем не сокращай его художественным опытом, который внушает неизбежность и счастье любви к тому, что есть. В том случае, если ты чувствуешь всё богатство ипостасных связей сущего со всем остальным миром живой ипостасной правды. Это чрезвычайно важно. Это очень трудно даётся. И поэтому ипостасная вера – это то, чего так ищут герои рассказа «Преемник». Они почти не пользуются этим термином. Они ищут, но они чувствуют неполноту лишь одной веры. Жизнь в ее красоте и правде, реальность, воплощенная в несказанной прелести ребёнка, которому предстоит ещё целая жизнь – всё это уводит от жизни и возвращает к ней. Уводит к цели, к финалу финалов, к тайне тайн. И возвращает к тому моменту, который переживаешь сейчас. И который не может быть сполна и до конца пережит в отрыве от всех других, предстоящих тебе. Помни, что ты всегда в пути и всегда у цели.

29 марта 2020

В этом рассказе есть еще одна версия, о которой полезно мне с самим собой поговорить. Учителю 80 лет, и он естественно, в согласии с нормой природы, должен уйти, сдать дела, уйти и вернуться иной ипостасью. Но философия такого действия принадлежит Преемнику. Она подарена учителем и целиком отдана ученику. Но ему 24 года. Он не знает, есть у него дочь или нет. Наверно, она всё-таки есть. Да нет, не наверно, а точно. Поэтому он ее видит в своём особом состоянии, когда остается дома один. В

той двухкомнатной квартирке, откуда ушла его жена. До того, как должна была родиться дочь. Напротив, на Большом проспекте, светится окно. Комната Преемника прибрана, даже стоит детская кроватка, которая уже для трехлетней дочки мала. И всё это признак того, что он, кого оставила жена, всё равно не один. И вот он не может уйти, хотя именно ему принадлежит идея ухода и возврата. Наоборот, он осознает, что его ипостась еще только в начале.

Как и у всего человечества, потому что вся жизнь, не только на земле, не только в космосе, вообще всё бытие это лишь ипостась. Ипостась, лишь начатая. Ибо Бог-творец только с нашей помощью, с помощью тех, кому предназначена эта ипостась, только с их помощью осознаёт себя и свое новое запредельное ипостасное бытие и небытие. И он поставил человечество пока ещё в самом начале. Время его безгранично. И поэтому для него то, что прожито обитателями Земли – почти ничтожное по времени, почти ничтожное по времени существования. Всё впереди. И те человеческие вопросы, которые возникают сейчас, сегодня, между людьми и по отношению к самим себе, у каждого из людей, в состоянии той особой войны, которая идёт, третьей войны, войны всех со всеми, – всё это для него, для творца, для Бога лишь начало.

Вот почему Андреевский собор, храм, куда входит Преемник с тем, чтобы там дать имя своей безымянной для него дочери, это храм именно того Создателя и того Творца, который надеется на нас и готов ждать, как мы решим, как мы явим наше ближайшее и далекое будущее. Вот почему человечеству рано уходить. И ему, Преемнику, тоже рано. А учитель придёт в другой ипостаси. Он уже сейчас мелькнул и пропал на пороге того кабинета в точке шиномонтажа, куда ради точной работы и размышлений вернулся Преемник. Наверное, есть ещё значения и смыслы этого рассказа, если в него погружаться. И только погружаясь, вносить правку, в которой он очень нуждается. И только тогда, может быть, он станет основой ненаписанной повести. Во всяком случае, я готов к такому погружению. И всё то, что я слышу в разговоре с самим собою – подступ к тому, чтобы погрузиться в этот рассказ. И дело не в том, хорош он или плох. Пока он ещё плох. А в том, что нужно и хочется вновь и вновь входить в него, чтобы разглядеть все детали, которые ещё я не успел увидеть, и поправить то, что неверно. То, что не вполне угадано. Потому что когда я писал этот рассказ, я абсолютно не

представлял себе, как он разрешится и каким он будет. Это хороший способ, верный способ – писать именно так. Именно так, в комнате моих размышлений, беседовать с собою каждое утро. У Пришвина есть формулировка, почему нужно каждое утро выходить, говорить с природой и с самим собою. Почему каждое утро? Потому что, – отвечает он, – волна идёт за волной. А я перевожу это на свой язык: ипостась за ипостасью.